

## 1917 ГОД: РЕВОЛЮЦИЯ И ПОГРОМ

**В.П. Булдаков**

*Институт российской истории РАН*

**Аннотация:** Автор выделяет в русской революции её погромный компонент, обусловленный архаизацией массового сознания. Последовательно рассмотрен феномен погрома во всемирной истории, особенности погромных действий в условиях распада Российской империи. Приводится существующая статистика погромов, показано, что антиеврейское насилие было лишь частью бунтарских действий толп и этнических конфликтов 1917–1920 гг. По мнению автора, демократическая этнополитика образца 1917 г. была не в состоянии обуздать революционный хаос. Развитие революции вылилось в серию так называемых военных погромов, сопровождавших Гражданскую войну. Большевистский интернационализм не смог противостоять раскручиванию механизма погрома. Показаны типичные фигуры погромщиков, выявлены условия, при которых погромные действия приобретают масштабность.

**Ключевые слова:** Россия, революция, насилие, национализм, евреи, погром, этнические конфликты, этнополитика.

Уровень забвения реалий русской революции растёт. Связано это не только с политизацией темы, давлением легковесных *mass media*, сколько с когнитивным бессилием современного обществоведения, снующего между позитивистскими табу и постмодернистскими соблазнами. Стоит поэтому обратиться к «экзотическим» событиям революционного прошлого. В данном случае речь пойдёт о связи революции с погромом.

Русское слово *погром* (изначально лишённое этнической коннотации) вошло в международный лексикон после кровавых событий 1903 г. в Кишиневе. С тех пор погром, как некое интернациональное понятие, связывается главным образом с *антиеврейским* насилием, вопреки своей изначальной этнической нейтральности. Между тем, в 1917 г. насильственные действия против евреев стали теряться в череде других разгромов и погромов — аграрных, продовольственных, «мануфактурных», «пьяных» [Buldakov 2010], не говоря уже о череде многомерных столкновений между другими этносами. Позднее, как показал XX в., спектр этнического насилия в мире оказался гораздо шире российских образцов погрома.

Тем не менее, в представлении о погроме, как о кровавой *антиеврейской* акции, совершаемой озлобленной толпой, есть своя когнитивная оправданность. В кризисные времена всякое охлократическое насилие имеет обыкновение непонятным образом *этнизироваться*, а это «непонятное» явление «понятливым» аналитикам хочется загнать в привычные политологические рамки. Так, существует точка зрения, что погромные действия направляются пре-

имущественно на «меркурианские» (торговые и посреднические) этносы — «нетрудовые» по понятиям человека традиционных сообществ [Слѣзкин 2007]. Но такое представление охватывает только часть феномена погрома — этого наиболее архаичного и потому особенно шокирующего «цивилизованных» граждан элемента социального буйства. Это связано, в частности, с фактором известного по Средневековью «панического» (порождённого когнитивным диссонансом) насилия [Крузе 2006: 164].

В той мере, в какой событиями управляет толпа, всякая революция в той или иной мере окажется подобием бунта и/или погрома. Бунт направляется против «отчуждённой» власти, погром — против «чужого» (в том числе и во имя «своей» власти). В революционных событиях прошлого этот момент был подмечен [Рюде 1984]. В 1917 г. в России возникла причудливая смесь бунтарско-погромных действий, но её все ещё (чаще бессознательно) интерпретируют в прогрессистском дискурсе взаимодействия «классов и партий». Разумеется, в революции и те и другие, так или иначе, обозначили себя. Но это скорее видимая, бездумно манифестируемая реальность — привычный для России набор *симулякров*.

Беда в том, что человеческий разум, не терпящий всего «хаотичного», оглядываясь в прошлое, всякий раз задвигает «непонятный» его компонент на задний план. «Тьмы низких истин мне дороже нас возвышающий обман», — было замечено в свое время поэтом и историком. Вполне подтверждает это пример революции 1917 г., попытавшейся дикими методами воплотить в жизнь принципы либерализма, социализма, интернационализма — всего того, на чем основывались тогдашние представления о прогрессе. На фоне взлелеянных эпохой Просвещения идеалов нескончаемая цепь бунтов и погромов в России выглядела как спонтанное, иррациональное, чисто разрушительное охлократическое беснование, направляемое некими «тёмными» силами. Между тем, бунт и погром, как и всякое историческое действие, сколь бы непонятным и отвратительным оно не казалось, таит в себе *рациональное* начало: это неизбежное, не считающееся с «чужой» моралью настоящего, восстание архаики против «непонятной» власти и «зарвавшегося» модерна. Без признания этой логики хаоса невозможно подойти к пониманию смысла русской революции.

В данном случае речь пойдёт о наиболее архаичном компоненте революции — погроме, причём погроме с более или менее выраженной этнофобской, прежде всего антисемитской, составляющей. Понятно, что такой специфически заострённый угол зрения на революцию призван, с одной стороны, показать, откуда берутся известные предрассудки, с другой — потеснить надоевшую и бесплодную политизацию исторического и историографического процесса.

Вопреки тогдашним иллюзиям прогресса развал Российской империи обернулся стихией всевозможных погромов и этнических конфликтов — выплеском архаики, силу сопротивления которой не могли предусмотреть «прогрессивные» мыслители. В связи с этим стоит взглянуть на революцию как на очередной сбой псевдоморфного (неорганичного), а потому кризисного развития России, сопровождаемого волнами идеализации и деидеализации власти, сублимации и десублимации культуры, секуляризации и десекуризации одного и того же (не только революционного) события [Королев 1995; 2009; 2015].

В своем конечном пароксизме 1917 год предстаёт бунтарски-погромной реакцией, объективно направленной против тогдашних представлений о прогрессе, точнее против социокультурной «бесцеремонности» последнего, воплотившейся в действиях недалёких политиков.

Можно назвать такой взгляд упрощенческим, но проблема обозначена, вопрос поставлен. А потому попытаемся представить, что в «классовой» основе революции лежала все та же Смута, коварно таившая в себе бациллы старого как мир Погрома.

## 1. Отзвуки тысячелетней юдофобии

Историк обычно работает «вопреки» современности. Точнее — вопреки её легковерию, без которого она существовать все ещё не умеет.

При анализе революционного кризиса империи эта работа становится рискованной. Мешают даже не недалёкие политики, а «благородные» людские эмоции, вечно навязывающие свои мерки событиям прошлого. Особенно «непреклонными» они становятся, когда речь заходит о этнонациональных сферах общественного бытия. Против профессионального историка готовы ополчиться не только записные мифотворцы, но и всякий в меру наивный «патриот» с его набором текущих представлений о добре и зле.

Общество требует «комфортного» прошлого в видах собственной стабильности. Однако «бесов прошлого» нельзя изгнать (хотя можно наклепать) благостными иллюзиями. Этнические конфликты уходят в глубину веков, но при этом непременно «выныривают» на поверхность в периоды общественной нестабильности. Это вызывает недоумение: исследователи выдвигают одну умозрительную гипотезу за другой, а тем временем социальный хаос приумножает «разруху в головах».

В России феномен погрома неотделим от её имперско-патерналистского наследия. Склонность к бунтарски-погромным, а равно иным «стихийным» реакциям особенно устойчиво прописана в психике тех народов, которые привыкли полагаться на «высшую» силу, а не на самих себя — они же наиболее склонны к отказу от признания собственной ответственности за кровь истории. Существует и другая крайность: иные народы используют коллективные травмы прошлого, «чтобы придать национальной версии истории особый драматизм и виктимно-политическую направленность» [Тишков 2010: 188–189]. Отсюда непреходящее желание политиков публично раздирать «старые раны» — как правило, в погоне за «выгодами» современности.

Между тем, погром так же стар, как и всякий этнос. При этом погром научился прятаться под покровом цивилизованности, трансформируясь в национализм. Последний, прикинувшись патриотизмом, может проявить себя в качестве и ксенофобии, и шовинизма. Увы, все это «нормы» человеческой истории.

Этнос само/утверждается через конфликт; национализм (точнее этнофобия) *предшествует* появлению нации; нация в известные времена склонна вообразить себя империей. В пространстве большого исторического времени национализм функционален, хотя его исторический путь прочерчен железом и кровью. Можно вслед за Э. Геллнером согласиться, что национализм призван способствовать «превращению культуры в нацию» [Геллнер 1991: 114]. Но что произойдёт, если идея нации затеряется среди иллюзий имперско-патерналистского существования и сосуществования?

Разумный подход к любому национализму и этничности должен начинаться с отказа от любых иллюзий по отношению к ним. Проще всего это сделать, взглядевшись в особенности российской юдофобии, наиболее показательно проявившей себя в революционной смуте.

\* \* \*

Антиеврейский погром, как и юдофобия, был изобретён не в России. Специалисты склонны датировать зарождение антисемитизма III в. до н. э. [Поляков 1997: 10] Первый упоминаемый в истории погром произошёл в 38 г. новой эры в Александрии. Наиболее богатым на погромы оказалось европейское Средневековье. Примечательно, что мусульмане относились к евреям более терпимо. В известной степени именно погромные действия христиан сформировали этнокультурный облик дисперсного европейского еврейства. Погром 1066 г. в Гранаде вызвал массовое переселение евреев из Аль-Андалуса в христианские земли. Некоторые погромы сопровождались громадным количеством жертв: в 1096 г. в Рейнской долине

погибло около 12 тыс. евреев. В 1189–1190 гг. жуткая погромная волна прокатилась по Англии. Погромы затронули практически все европейские страны.

Как правило, причины погромов оказываются настолько туманными, а поводы к их вспышке столь многообразными, что попытки их систематизации, вроде бы, теряют смысл. Несомненно, однако, что всякий погром провоцируется нарастанием страха традиционалистской массы перед неведомым, но «неизбежным». И вот тогда «меркурианцы» — эти бациллы мирового «прогресса» — почти автоматически становятся жертвой прежде молчаливого большинства. Последнее начинает кричать языком традиционализма, «обиженного» непонятной современностью.

Стоит, однако, обратить внимание на другую сторону медали: средневековые погромы отнюдь не переросли в войну на уничтожение еврейства; западная цивилизация словно испытывала нужду в конкурентном сосуществовании с ним. Кое-где евреев терпели, но чаще их существование «дозировали». В 1320 г. в Испании и Франции было уничтожено 120 еврейских общин, но это вовсе не привело к исчезновению иудаизма. В ходе погромов 1391 г. в Валенсии и Барселоне (убито около 4 тыс.) многие евреи были насильственно христианизированы, но особая «культура еврейства» не была искоренена. Более того, произошла её инфильтрация в общеевропейские практики модерности, чему, безусловно, помогли встречные импульсы со стороны еврейства. Оказывается, что и в российской черте оседлости христианское (крестьянское) иной раз «объевреивалось» в силу экономического интереса [Белова 2011: 45]. Погром — это ко всему ещё и инструмент социокультурной «притирки» этносов, неизбежной в ходе глобализации истории.

Формально во времена Средневековья евреев преследовали за веру, которая, как считалось, связана с человеческими жертвоприношениями. Но последним некогда грешили едва ли не все этносы; в данном случае несправедливость «еврейского» деяния была искусственно связана с символикой распятия Христа. Отсюда и характерный навет: в своих ритуалах евреи используют христианскую кровь. Это, в свою очередь, было сопряжено с привычкой к инфернализации «чужой» веры, которую проще всего отождествить с вампирским поклонением дьяволу. Демонизация иудеев усугублялась их отказом от идолопоклонства — небрежение «понятым» обрядом вызывает подозрение то ли в атеизме, то ли в интимных связях с «тайными силами». Сказывалось и «непонятная» склонность евреев к этноизоляции. А в определённые времена всякий «чужой» непременно покажется и враждебным, и опасным.

Так или иначе, сама близость «непонятных» евреев стала связываться со всевозможными напастями — от падежа скота до эпидемий. И тогда вступали в силу доисторические обычаи расправ с «колдунами». Не удивительно, что на этом фоне евреи, как и прочие инородцы и иноверцы, становились разменной монетой в ходе борьбы со всевозможными еретиками и лжепророками Средневековья. Но думать, что погромной стихией можно манипулировать, — безнадёжное упрощение.

Глубинные причины погрома таятся не только в культурно-онтологической плоскости. В Средние века христианские правители использовали подозрительное отношение к чужеверию в сугубо прагматичных целях, избавляясь под покровом погромов от своих материальных задолженностей. Даже жуткий этноцид по отношению к евреям, развязанный в XVII в. на Украине в ходе борьбы против поляков, легко объясним: евреи в качестве управляющих и посредников обслуживали интересы магнатов. Тогда, в результате «освободительных» походов 1648–1654 гг. Богдана Хмельницкого было уничтожено около 100 тыс. евреев. Строго говоря, нечто подобное могло случиться всегда, но в «эпоху идеологий» этнофобия усилилась страхами перед «чужебесием». Всякий погром связан с изменением психоментального ландшафта эпохи.

Погромные практики примечательны тем, что насильники стараются подвести под свои деяния некую «нравственную» и даже правовую базу. В Средние века в Европе распространились юридически оформленные расправы над евреями по обвинениям в распятии и/или ис-

пользовании ими крови христианских младенцев в ритуальных целях. Один из последних таких случаев зафиксирован в Баварии в 1823 г. Со временем отголоски подобных практик проникли в Россию — подсознательный страх перед «вампирами» проецировался на «чужих», приобретая при этом «легитимную» основу.

Нет ничего удивительного в том, что рыхлое социальное пространство России (в отличие от Европы, пережившей куда более «вялую» притирку этносов) оказалось с запозданием инфицировано «модернизированной» примордиалистской болезнью. Впрочем, первый крупный еврейский погром был зафиксирован в Киеве ещё в 1113 г. Однако, последующие погромы оказались связаны главным образом с включением в состав России части Польши. Впрочем, куда ранее, чем с евреями, на Руси познакомились с ересью «жидовствующих».

Характерно, что то и дело возникали довольно неожиданные поводы для этнических расправ. В 1821 г. под влиянием известий о резне греков и об убийстве в Стамбуле константинопольского патриарха Григория начались избиения евреев в Одессе. В 1859 гг. здесь вновь произошли погромы, а в 1862 г. евреев громили в Аккермане, — на сей раз в связи с экономическим соперничеством греческого и еврейского населения. Погром связан с чувствоммести — того самого чувства, без которого невозможна вера в справедливость и которое столь интенсивно питает революцию.

Но помимо вспышек ненависти к «чужому», эксплицитно и имплицитно мотивированных «возвышенными» мотивами, феномен погрома связан с куда более неприглядным фактором — подсознательным стремлением *homo sapiens*'а к силовому самоутверждению. Разумеется, современный человек эту «постыдную» подоплёку своего социального поведения скрывает. И не стоит обращаться к психоаналитикам: очевидно, что если человек на протяжении всей своей неписанной истории только и делал, что убивал ближнего, то эта неприглядная генетика непременно напомнит о себе в критических обстоятельствах. Погром, как и бунт, — это трудно изживаемое торжество «низкой» природной стихии.

Революционный процесс внёс в этническое насилие нечто новое. Стало заметно стремление «облагородить» то, чему не может быть оправдания с точки зрения господствующей морали. Практика погрома сомкнулась с «антибуржуйской» риторикой. Не только бунт, но и погром стал частью «классовой» и «национально-освободительной» борьбы.

В свое время крестьянское население черты оседлости откликнулось на убийство народныхольцами «Царя-Освободителя» избиением евреев [Гатагова 1998: 106–109]. По мнению официальных лиц, полоса погромов была вызвана «экономическим господством евреев», обнищанием крестьян, религиозной неприязнью и «колебанием умов» в связи с царевбийством [Гессен 1908: 1632]. Такова была стихийно-эмоциональная, но по-своему закономерная реакция на событие, выходящее за пределы традиционного миропонимания. Нет нужды ни осуждать, ни оправдывать её — перед нами характерный «знак» истории, напоминание о её не только жестокой, но и «коварной» природе.

В новейшее время погромщики «облагородились». Этнический конфликт постарался облечься в тогу социальной «справедливости», что позволяло власти по-своему использовать векторы того или иного массового недовольства. В 1890-х гг. погромы в России возобновились в связи с общим ростом социальной напряжённости. Им сопутствовала реанимация народных представлений о том, что «праведное» насилие не подлежит наказанию со стороны «понимающей» власти.

В процессе выявления причин погромов люди всегда изыскивают «рациональные» объяснения. Перед Первой мировой войной российские чиновники попытались выявить причины растущего хулиганства в традиционалистской среде. Был сделан странноватый для «просвещённых» людей вывод о «...бесцельности наносимого вреда и отсутствии прямой выгоды как побудительного повода» разрушительных действий деревенской молодёжи [Особый журнал... 2006: 42]. Россия вступила в полосу глобальных «иррациональностей».

Число столкновений на экономической почве, приобретающих этническую окраску, с прогрессом буржуазных отношений не могло не умножиться. Но стало заметно и иное. Обнаружился обычай устраивать погромы «на Пасху» или еврейский Иом-Кипур (Судный день) — налицо «конкуренция ритуалов», воинственное противостояние «святого» и «поганого» обрядов. В ответ стали стихийно возникать отряды еврейской самообороны, что ещё более усиливало межэтническое недоверие.

Как правило, масштабные погромы становились возможными в результате сочувственного бездействия или запоздалой реакции российских властей. Только в 1902 г. попытка польского населения организовать еврейский погром в Ченстохове была решительно пресечена русскими войсками. В августе-сентябре 1904 г. в ряде городов и местечек черты оседлости погромы учинили новобранцы, призванные на русско-японскую войну.

В период Первой русской революции волна еврейских погромов захватила всю территорию черты оседлости. В ряде случаев погромы провоцировались еврейскими экстремистами [Булдаков 2010б: 1008]. Порой в результате действий еврейской самообороны среди погромщиков оказалось больше убитых, чем среди евреев. Число жертв росло по мере эскалации взаимных страхов.

Известная привычка связывать погромы в России с сознательным участием в них властей имеет под собой некоторые основания — правда, весьма шаткие. В целом российские власти, опасаясь утраты контроля над событиями, не были заинтересованы в любых беспорядках, включая «патриотические». Самодержавные правители обычно противятся любому виду самодетельности — даже во славу их самих. Однако по многозначительной иронии судьбы основная масса погромов произошла после опубликования манифеста 17 октября 1905 г. Очевидно, что этот «освободительный» документ был прочитан разными группами населения по-своему. Результат ужасает: после революционных и патриотических манифестаций произошло до 690 погромов в 102 населённых пунктах России. Было убито более 800 евреев: в Одессе свыше 400, в Ростове-на-Дону — 176, в Екатеринославе — 67, в Минске — 54, в Симферополе — свыше 40, в Орше — более 30 [Lambroza 1992; Ascher 1995].

Поводы для погрома находились легко. В Ростове был пущен слух, что «жиды напали на русских, а портрет Николая II изорвали и выбросили». Возмущённая толпа принялась забрасывать камнями участников митинга, из среды последних последовали револьверные выстрелы, после чего на них набросились казаки, затем начались грабежи лавок и магазинов, причём некоторые погромщики несли портреты царя и хоругви. Погром прекратился только 20 октября.

Октябрьские погромы 1905 г. проходили практически по одному сценарию: участники «патриотических» демонстраций уверяли, что их обстреляли еврейские боевики (обычно с крыш «еврейских» домов или со стороны синагоги), после чего последовали «ответные» действия. Впрочем, это было время общего обострения этнической напряжённости. Достаточно вспомнить об армяно-азербайджанском конфликте — реактивации застарелой также «анти-меркурианской» этнофобии.

В 1906 г. был также отмечен ряд крупных погромов: в январе в Гомеле, в июне — в Белостоке (погибло около 80 человек), в августе в Седлеце (около 30 убитых). Практически все погромы были связаны с деятельностью радикальных — не только правых — политических партий. В их рядах было предостаточно вольных и невольных провокаторов. Погромы сходили на нет по мере отступления революции.

Погромная связь событий 1917 года в России с Первой мировой войной несомненна — в том числе и в этнополитическом смысле. Война началась как война империй, но превратилась в войну народов. «Просвещённые» европейцы не заметили, что сама по себе вера в Прогресс революционна, а революция — это вовсе не очередная ступень восхождения к «светлому будущему», а болезненный сбой эволюционного процесса. Особенно ощутимо это сказывается на архаично-патерналистской среде.

Начало войны внесло коррективы в «меркурианское» представление о погромах. Имеются в виду шовинистические акции во всех воюющих странах. (Характерно, что в начале войны российская пресса постоянно упоминала о «патриотических» погромных акциях не только в Германии и Австро-Венгрии, но у «цивилизованных» союзников, словно оправдывая ненависть к всякому «чужому»). В России последовали и разгром германского посольства в столице, и октябрьские погромные действия в Москве, и, наконец, жуткий антинемецкий погром в мае 1915 г. в первопрестольной. Примечательно, что в последнем случае евреев не только не трогали, но и готовы были приветствовать [Булдаков 2010б: 82–91] за «патриотизм» (что, разумеется, не сказалось на подспудном росте антисемитизма). Непосредственно в полосе военных действий по части погромов особенно отличились казаки, не делавшие разницы между «чужим» (в Галиции) и «своим» (в черте оседлости) населением [Клиер 2005: 54]. Не менее отвратительно выглядят бесчинства, производимые солдатами в оккупированной части Турции. Все погромы разворачивались по сходному сценарию: грабёж, изнасилования [Письма с войны... 2015: 574, 576, 605, 610, 623, 637].

Скрытая энергия погрома словно блуждает по социально-историческому ландшафту в поисках наиболее подходящей жертвы. И не стоит связывать их с теми или иными политическими манипуляциями, ограничиваясь «меркурианскими» этносами. Феномен погрома «старше» любых идеологов и политиков, а представления о «чужих» и «своих» с течением времени меняются. У погрома своя собственная логика.

\* \* \*

Новая волна погромов начала подниматься в условиях, когда Россия в полном смысле слова захлёбывалась от поверхностного, как оказалось, революционного интернационализма. Увы, ненависть к «чужому» куда понятнее «классово-политической» борьбы. Разлив застарелой племенной ненависти в разваливающейся империи произошёл не сразу. Идеи социализма и национализма некоторое время противостояли друг другу, но затем стали сливаться в гремучую смесь.

И что бы ни говорили теоретики западного национализма и их российские эпигоны, в развалившееся империи этнофобия практически не имела точек соприкосновения с политикой (включая «национально-освободительную») и развивалась *параллельно*. Активность тогдашнего «политического класса» в большей или меньшей степени носила умозрительно-декларативный характер, а ненависть к «чужому» все сильнее проявляла себя на уровне предвзвешенности и бытовой неустроенности.

По-своему интерпретировали это явление авторы одной из недавних российских книг. Отбросив либертеррианскую политкорректность и воззвав к «почве и крови» истории, они попытались объяснить, почему российские черносотенцы (читай: простые русские люди) являются имплицитными антисемитами. При этом утверждалось, что российский антисемитизм носил *расовый* характер — только евреев громили за то, что они евреи [Соловей, Соловей 2009: 140]. Причин было названо несколько.

Во-первых, еврейство было объявлено деструктивным этносом, от которого якобы исходило глумление над сакральными атрибутами Российской империи. Во-вторых, только евреи казались «тотально чужими» — по внешности, манере поведения, языку, культуре и религии. В-третьих, евреи стали ассоциироваться с «капитализмом и вообще модернизацией страны», то есть предстали «кастой лавочников и шинкарей», неспособных к производительному труду и воинскому подвигу. Получалось, что еврейство враждебно самодержавной государственности и русскому народу, — именно это и возмущало черносотенцев [Соловей, Соловей 2009: 143, 145, 147–148, 153–154].

Но когда зародилась вера в тотальную злокозненность евреев? Авторы полагают, что в России это произошло лишь во второй половине XIX в. Фактически это повторение доводов столетней давности, прозвучавших из уст одного мнительного публициста. Он уверял, что

евреи, внедрившись в «арийские» сообщества, быстро превращаются из смиренных рабов в дерзостных отрицателей, а затем безжалостно вгрызаются в ткани общества и губят их [Меньшиков 2005: 110]. Похоже, что авторы переусердствовали с принципом виктимности.

В свое время В.С. Соловьев назвал антисемитизм «сифилисом нации». В наше время Т. и В. Соловьи в поисках источника заразы валят с больной головы на здоровую. Приведённая ими характеристика «злокозненности» евреев может быть отнесена ко всей *русской* интеллигенции (недаром черносотенцы охотно громили и «жидов», и «студентов»). Если этническое ядро спонтанно модернизирующейся империи лишено духа современной гражданственности, то оно непременно будет поражено старым, как мир, вирусом ксенофобии. Чем беспомощней становится «массовый индивид», тем более он нуждается в фюрере [Райх 1997: 85]. Всякие «учёные» изыскания в области «почвы и крови» будут её когнитивно беспомощным продолжением. И стоит ли оправдывать — пусто не намерено — народную темноту?

\* \* \*

С какими глубинными факторами истории связаны этнофобские основания массового сознания? Чем определяются их российские особенности?

На фоне отвратительного разгула этнофобии сама постановка вопроса о «виктимности жертвы» (обычного у криминалистов) порождающей особый тип погромщика, может показаться едва ли не безнравственным (а потому ложным) исследовательским приёмом. Между тем, очевидно, что революционная смута настолько обострила гетерогенность христианского (условно говоря, производительного) и меркурианского (посреднического) социокультурных типов, что это могло спровоцировать «трудящиеся» массы. В связи с этим стоило бы признать: потаённая человеческая агрессивность всегда держит в своем подсознании «мальчиков для бития» и прочих кандидатов на роль «искупительной» жертвы. Отвратительная привычка вымещать злобу на слабых просыпается именно в переломные времена. Мемуаристами подмечено: красноармейцы тушевались перед аристократами, которые вели себя с достоинством и даже вызывающе [Мишагин-Скрыдлов 2007: 141–142]. Напротив, испуг потенциальной жертвы вызывал особую жестокость палачей. Империя вырабатывает именно такой тип поведения в «господствующем» этносе.

Традиционализм рано или поздно развернётся к миру своим этнофобским оскалом. «Избыточные» первозданные эмоции приобретают социально-масштабное распространение по своим собственным законам, далёким от предписаний доктринёров. Кризисность — непременный спутник человеческой истории. Вместе с тем, весь её ход связан с периодическими стрессами и страхами, так или иначе сопряжёнными с прошлыми и будущими племенными и национальными конфликтами.

Разлив революционной этнофобии связан с комплексом вполне различных факторов. Э. Геллнер показал функциональность национализма в развитых аграрных сообществах. Но, пользуясь его же аргументацией, можно доказать «дисфункциональность» российских «недонационализмов», связанных не столько с рыночными отношениями и индустриализмом, сколько (в лице большевизма) с социокультурной архаикой. И это не парадокс. Именно эти скрытые интенции вылились в «мечь» аграрно-традиционалистской среды архаичному государству, вздумавшему бюрократически самосовершенствоваться за её счёт.

## 2. Империя и погром

Российская империя не случайно оказалось пространством «запоздалого» пробуждения национализмов. её историческое становление было своеобразным: экстенсивный тип развития сочетался с вялой культурной экспансией — самодержавие не выносило свободной про-



поведи [Леонтьева 2002]. Народ не просвещался, а «самовоспитывался». Архаике его сознания ничего не противопоставлялось.

Даже ранняя этнотерпимость (если вообразить, что она действительно имела место) была обусловлена набором вполне прозаичных факторов: относительным простором места под солнцем, мнимо избыточным природным изобилием, изоморфностью и/или взаимодополняемостью хозяйственных укладов соседей. Именно это открывало государству возможность строить империю на принципах «внутренней колонизации» (М. Фуко): этнические иерархии выстраивались (пусть с запозданием) с такой же непреложностью, что и сословные. Но даже в эти «культурно расслабленные» и потому вынужденно этатизированные пространства периодически вторгались обстоятельства глобалистского уровня, вроде великого переселения народов, противостояния мировых религий, европейских войн и идейных возмущений. Внутриимперский баланс мог нарушить целый набор факторов: аграрное перенаселение в центре страны, усиление миграционных процессов, разрыв привычных коммуникативных связей, деформация духовно-идеологического пространства, политическая активизация элит, наконец, кризис центральной власти, продолжающей натужно удерживать (в том числе и через использование предрассудков) «застойное» равновесие [Булдаков 2007: 75–77].

Очевидно, что традиционные, особенно «интровертные» этносы должны были болезненно реагировать на эти коллизии. Однако уплотнение социального пространства происходило относительно медленно, этническое напряжение на окраинах стало заметным лишь к началу XX в. К этому времени стали поднимать голову местные элиты, способные куда основательнее повлиять на массы, нежели центральная власть. Неосознанное недовольство становилось «целенаправленным».

Империя не может существовать без образа врага. В русской истории он был многолик: в реестр «чужих» входили «басурманин» и поляк, «кавказец» и француз, японец и немец. Враг-еврей появился относительно поздно. При этом отношение элит к «чужакам» носило амбивалентный характер: «распознанный» неприятель, у которого можно было кое-что перенять, иной раз превращался в «друга». Но только в эпоху *упадка* империи опасения её элит перерастают в этнофобию — отсюда образ «пытающего кольца окраин», окружившего «Святую Русь». Неслучайно мировой войне предшествовало нагнетание недовольства остзейскими немцами. В свою очередь ненависть к немцу стимулировала недовольство евреями — образ «чужого» приобретал инфернально всеобъемлющие очертания [Булдаков 2006: 39–44; Старков 2007: 327–332].

Вместе с тем, всякая империя — это культура. Обычно она начинается как агрессия управления, а кончается как цивилизация потребления. Ситуация осложнится, если культура имперства перенасыщена патернализмом, заставляющим власть «притворяться», а подданных не в меру предаваться иллюзиями. В этом случае можно ждать выплесков «немотивированного» недовольства и «стихийных» погромных действий.

Жизнеспособность империи зависит от энергетике её этнического ядра — этого праисточника имперства, которого не следует слишком разжижать патернализмом. Империей восхищаются на пике её державной мощи, её же проклинают в эпоху *упадка*. Восторг от развала империи (обычно ненавидимой по причине «перекосов» управления и немощи правителя) бывает недолгим. её гибель оставляет уцелевшим подданным (включая инсургентов) сгустки потаённого страха перед будущим и не менее пугающий набор проблем настоящего — то, что не только взвинчивает местные национализмы, но и составляет питательную среду погрому.

Всякий очередной виток глобализации провоцирует погромные настроения. «Война империй» придала «национальному вопросу» новое измерение. Образ врага внешнего соединился со страхами перед врагом внутренним (шпионы, предприниматели, спекулянты). В результате депортаций, беженства и прочих миграций резко изменился этнический ландшафт в городах центральной России: «чужие» неожиданно появились в ближайшем окружении, по-

рождая общественные галлюцинации. Размах общероссийского погрома (не только этнического) стимулировался примитивизацией массового сознания и расшатыванием народной психики. Поскольку в синкретичном мировосприятии — непременном спутнике застарелого патернализма — основу общественных взаимосвязей определяет магическое (а не рациональное) начало, в экстремальных обстоятельствах страхи перед «чужаками» растут как снежный ком. При этом «враги» наделяются не только изошренным коварством, но и сверхъестественными возможностями.

В России сказался ещё один, обычно недооцениваемый фактор. Падение самодержавия, поддерживавшего определённый баланс, а с ним и иллюзию этнопатернализма, породило у малых этносов страхи перед собственной самостоятельностью (хотя внешне казалось, что именно к ней они стремятся) и усилило боязнь ближайших соседей. А поскольку новые «интернационалистские» и космополитичные элиты общероссийского масштаба оставались чужими и непонятными для традиционалистских масс, усилилось влечение к «своим» лидерам воинственно-вождистского типа. В общем в массовом сознании реактивировались этнически заострённые агрессивные потенции. Поэтому новые этнохаризматичные вожди, постепенно вытесняющие «демократических» лидеров, могли придать социальному насилию черты воинствующего трайбализма.

Во всех известных случаях практически невозможно отделить «организованную» часть погромных эксцессов от «стихийной». Это не удивительно: в основе погромных интенций лежат иррациональные страхи и ситуационные аффектации, часто не имеющие прямого отношения к объекту ненависти — ген погрома таится не в политике, а в угнетённой человеческой психике, активизирующей его подсознание. Конечно, спонтанные выплески психозов недовольства можно провоцировать, но ими практически невозможно управлять.

Распознать «феномен погрома» непросто. Современное историческое сознание несёт на себе печать позитивистской «макроистории», а потому впадает в когнитивный ступор перед лицом всякого «малого» события «иррационального» происхождения. Отсюда побочный результат — поиск «бесов прошлого» (чем упорно занимается российская околоисторическая мысль, подталкиваемая известного сорта политиками). Между тем в реальной действительности не существует никакого разрыва между микро- и макроисторией — и та, и другая в конечном счёте антропоморфны.

Механизм раскручивания массового насилия известен. «Потерянный» человек «находит» себя в стаде. А всякое аффектированное сообщество легко превращается в коллективно-насильника. При этом люди, ощущавшие себя в прошлом изгоями, могут возомнить себя богоизбранными [Бергер, Лукман 1995: 269–270].

Со временем может прийти искреннее раскаяние, но чаще — желание отмежеваться от ужасов былого. Как бы то ни было, судить тот или иной народ следует «не по тем мерзостям, которые он так часто делает, а по тем великим и святым вещам, по которым он и в самой мерзости своей постоянно воздыхает» (Ф.М. Достоевский). Духовная жизнь человечества не просто «чудовищная фантазмагория, кошмар» [Шпет 1996: 151]. При всех своих пороках и люди, и народы живы в силу живущих в них идеалов.

На протяжении последних десятилетий этноконфликтологи предложили целый набор «универсальных» теорий, призванных объяснить происхождение современных столкновений между народами. Одни отдают предпочтение новейшим формам «борьбы за ресурсы», другие предлагают учитывать главным образом этностратификационные подвижки, третьи настаивают на неопределённых интерпретациях конфликта. Делаются также попытки выявить культурно-антропологическую (в данном случае — примордиалистскую, социобиологическую) составляющую всякого этнического конфликта. Все эти теории малопригодны для работы историка, ибо в них «забывается» феномен погрома.

Империю оставляют после себя нечто вроде мин замедленного действия — не только на своей периферии, но и в глубине людских душ. Это не только «месть» системы своим разру-

шителям, но и индикатор способности империи к возрождению. Живучесть империи обеспечивает имперский, точнее, пост-имперский дух и непреходящей исторической ностальгией. Последняя, в свою очередь, стимулируется патерналистским сознанием.

\* \* \*

В манящем свете мировой революции большевики искренне стремились освободить угнетённые народы ради их растворения в некоем безнациональном сообществе. Конечно, интернационализм утопичен. Особенно, если революционный хаос стимулируются людьми, воспроизводящих трайбалистское разделение мира на «своих» и «чужих». Это путь к силовому возрождению «перекрасившегося» имперства.

Интернационализм оказался лишь дымовой завесой для строительства «красной империи». Белые, напротив, хотели избавиться от любых инородцев, почитаемых ими главными виновниками развала обречённой системы (что было заведомо безнадежно). Получилось так, что именно те, кто по-настоящему мстил старой империи, оказались невольными строителями новой. В этом не было ничего удивительного.

В истории заблуждаются все. Никому не дало предугадать, какую роль ему суждено сыграть в пространстве большого исторического времени, ибо мир, как всегда, движется не от тьмы к свету, а совершает маятниковые колебания от «хаоса» к «порядку», от необузданности к казарменности. Красные постоянно апеллировали к «пролетарскому интернационализму» (практикуя иной раз этнофобские выходки). Белые, напротив, маниакально указывали на конкретного врага — «жида-большевика». В первом случае создавалась ситуация «жертвоприношения во имя высшей цели», во втором — стимулировалось подобие кровной мести. Манипулировать предрассудком может только тот, кто сам не до конца увяз в нем. Большевистские лидеры, в отличие от белых, оставляли за собой свободу рук благодаря сверхценностному идеалу, утрамбованному в жёсткую доктрину.

Красный террор восходил к ритуалу самосуда, которому мало-помалу придавались черты военно-политической целесообразности и идейно-государственной упорядоченности. Напротив, белый террор, пытавшийся выступать вроде бы в юридически-устоявшихся формах, был чреват садистскими вывертами индивидуальной психики, уже не способной адекватно реагировать на происходящее и потому нёсший в себе семена саморазрушения. Получалось, что большевики повторяли исторический путь «совершенствования» насилия, в то время как их противники всего лишь провоцировали спонтанный выброс антигосударственных его форм. Побороть хаос можно было только изнутри с помощью наиболее активных элементов его самого.

Показательно, что те современники, чьи умы не были до конца иссушены теориями, а души — неистовством, уже тогда указывали на это. Империя должна была пройти цикл кровавой самоочистки, исторгнув из себя то, что мешало естественным кровотокам её организма. Этому помогало «безумие революции», связанное с пароксизмом жажды этнического равенства. Между тем, на полях любых сражений перечёркиваются не только высокие идеалы, но и самые стройные теории.

Какие бы слова не написали на своих знамёнах победители, какие бы ценности не отстаивали побеждённые, как бы не интерпретировали все это историки, ни прорыва в «светлое будущее», ни возврата к «идиллическому прошлому» нельзя добиться, забывая живых людей с их неподатливой психикой. Люди склонны руководствоваться собственными эмоциями, страстями, предрассудками — куда более древними и устойчивыми, чем временно обуздывающие их законы. «Интернационалистский» язык красной империи был языком силы, ни с чем не считающейся во имя великой идеи. С его помощью империя возродилась на волне усталости от насилия.

Будущее требует усилий — в том числе творческих. Пора признать, что доктринальные ошибки реформаторов, революционеров и интеллектуалов, не говоря уже о сервильных по-

литологах, всегда «исправляются» путём отката к первозданной дикости. Придётся согласиться, что вся предыдущая историография революции состояла по преимуществу из череды ложных попыток начётнической формализации того, что менее всего этому поддаётся. Лишь взгляд на прошлое с позиций социальной синергетики позволяет преодолеть однобокие представления об «объективности исторического процесса».

Процесс «смерти-возрождения» империи (а этот феномен не ограничивается российским опытом) требует адекватного языка описания и анализа. Ныне все большее распространение получает идея переосмысления истории в рамках «логики вероятностей» — как стохастичной череды линейных и нелинейных процессов и явлений. Применительно к социальной сфере это связывается, прежде всего, с возникновением «порядка из хаоса» путём спонтанной людской самоорганизации. И не надо удивляться, что этот путь бывает отмечен актами примордиалистской дикости.

Патерналистская система «совершенствует» только один тип социального поведения — давать-хватать. В какие бы возвышенные «служилые» формы он не облакал себя, в основе его лежит биологический инстинкт, подавляющий креативный и альтруистический компонент исторического существования человека. Именно этим инстинктом и определяется психодинамика кризиса империи. Стадный этноцентризм времени, называемого революционным, — всего лишь отчаянная и потому бессодержательная попытка преодолеть недоразвитость коммуникативного разума *homo paternus*'а. Этноцентризм создаёт иллюзию совместного преодоления «заблуждений» внешнего мира. А потому от тех одиночек, отваживающихся мыслить независимо и жить «по совести», он беспощадно избавляется. Таков основной — все ещё с трудом воспринимаемый — урок истории, преподнесённый «красной смутой».

История — это не только цепь завоеваний и достижений, но и непререкаемых заблуждений. Она столь же плотно соткана из насилия и мести, как и из мифов и утопий. И не стоит обольщаться относительно того, что человек не только насильник, но и альтруист: в социальном пространстве более заметен первый — в силу своей активности его фигура кажется креативной. И потому люди склонны боготворить и Ивана Грозного, и Петра Великого, и даже «менеджера» Сталина.

Историческое сознание, особенно «цивилизованное», не замечает, что на нем лежит печать «зова племени», в котором оно, само того не сознавая, черпает витальные силы. Бесплезно надеяться, что веротерпимость и интернационализм — феномены «высшего» порядка, способные по мановению доктринёрского пера вытеснить религиозный фанатизм и этнофобию. Подобные иллюзии порождены безволием разума, развращённого мнимой упорядоченностью развитых этносоциальных систем — будь то нация-государство или новейшая квазиимперия. Даже глобалистские тенденции (или иллюзии) так называемого общечеловеческого развития несут в себе вирус попрания народов. Под ними таится старое, как мир, стремление господствовать.

\* \* \*

Сила и устойчивость (соответственно и конфигурация) любой имперской власти связана не с интенсивностью насилия и его театральными суррогатами, а со степенью (тотальностью) овладения пространством [Королев 1997]. Имеется в виду не просто пространство (территория), но также и «пространство населения». Только при организации их в *информационно-временную* целостность (иерархию социальных энергий, ценностей и смыслов) возникает более или менее управляемое *пространство власти*. Сбои в её функционировании чреватые разрастанием *пространства хаоса*, которые в полиэтничной империи неизбежно принимают «сецессионистские» формы.

Большинство этнических конфликтов, связанных с распадом СССР, легко было предсказать, опираясь на опыт 1917–1920 гг. Этого не произошло, ибо люди, бездумно устремляясь вперёд, обрекают себя на блуждание по кругу.

В известном смысле человек обречён на «непонимание» собственной истории. С одной стороны, его трудно убедить, что «его» эпоха — лишь мгновение в пространстве большого исторического времени, в котором ему и суждено *реально* пребывать и незаметно сгинуть. Во-вторых, по условиям своего современного существования он *a priori* не способен адекватно оценивать события прошлого, причём герменевтические экзерсисы профессионалов вряд ли способны преодолеть давление исторической памяти. В-третьих, его нынешние симпатии и антипатии — в значительной степени лишь производное от эмоциональных «издержек» исторического существования, которое воспитало в нем не столько вечно сомневающегося индивидуума, как суеверного «человека толпы» и даже «члена стаи». Наконец, так называемый *homo sapiens* упорно отказывается от индивидуального миропознания, предпочитая ему «истину», подсовываемую вождями и сервильными идеологами. И эта тенденция нарастает в связи с «визуализацией власти» — впрочем, лишь до определённого предела. «Совершенство» мира лишь усиливает его кризисность.

В империи, пронизанной опасениями и, вместе с тем, склонной к самообольщениям, всякая «прогрессивная» доктрина, овладев умами, провоцирует расщепление массового сознания: маргиналы начинают бредить призраком класса, племенные сообщества готовы возмнить себя нациями. Как результат, идея всеобщего освобождения методом классово-борьбы притягивает всех недовольных, а идея нации (не менее иллюзорная, чем идея социализма) противопоставляется имперскому мироустройству. Строго говоря, и декларативный интернационализм, и местные «национализмы» связаны не столько с деятельностью соответствующих элит, а реактивацией веры в «чудо» избавления от «ужасного чужого». Однако силы отталкивания от «пугающего прошлого» недолговечны — человек возвращается к привычной идеализации «справедливого» насилия, исходящего от сильной власти.

Возможно, архаике этнизированного мировосприятия суждено до бесконечности прорываться сквозь покров любых цивилизаций — как в условиях их победоносного напора, так и кризисов. Поэтому лучше принять за аксиому внутреннее «коварство» любого этноса по отношению к тому миропорядку, в лоне которого он набрал силы. Сколь умудрёнными не казались бы реформаторы, какие бы «высокие» цели не провозглашали революционеры, вожакам упрямого людского стада удаётся только одно: пробудить в человеке старую как мир иллюзию, что во всех его бесконечных бедах виноват злокозненный «чужой», а потому по отношению к нему допустима любая жестокость. Так было в незапамятные времена, то же самое происходит в войнах и революциях. Именно тогда призрачные архетипы сознания, подхлестнутые «новыми» идеями, получают грубое силовое наполнение, векторы привычных поведенческих практик приобретают агрессивную целеустремлённость, а возбуждённый ум начинает рыскать в поисках врага, чей образ наиболее впечатляюще вырисовывается в тумане исторической памяти. Но историк обязан отделять подлинное наполнение прошлого от сонма созданных людским воображением чудищ-симулякров. Иначе люди окончательно запутаются в паутине созданных ими символов.

Через высшие проявления человеческого духа мы узнаем *кем* человек может и должен стать. Взирая на смену форм насилия, мы видим *чем* он пока остаётся. И для того, чтобы двигаться в будущее, важнее знать об этом последнем. Знать вопреки ханжеской и безвольной тяге людей к забвению, на котором паразитируют всевозможные конспирологи

Всякое новое погружение в прошлое способно отразиться на современном облике народов, при этом редко облагораживая его. Мир становится чересчур тесным, а потому слишком непредсказуемым. А потому не стоит тешить себя рассказами о «золотом веке» и «былом величии» собственного народа, якобы порушенном «чужими». Угроза нашему «процветанию» таится внутри нас самих.

Несомненно, что интенсивность насилия намного выше в «молодых» этноконтактных зонах империи. И, тем не менее, даже здесь трудно говорить о войне целых этносов друг против друга. Ситуационный погромно-грабительский порыв со временем отступает перед жела-

нием привычного порядка [Добрынин 1923: 28, 33–34, 49]. Отношение человека к насилию — как и производной от неё власти — всегда амбивалентно, что ещё более минимизирует возможности клиометрии.

Так или иначе, исследователь обречён перебирать немногие документальные свидетельства кровавой исторической природы человека, пытаясь отыскать в них зерна вневременного смысла. История — это вовсе не вдохновляющее сияние «золотого века», а всегда своевременное предупреждение о будущем. И замутнённое зеркало прошлого — все же самое надёжное из зеркал, которое дано человеку. Важно научиться всматриваться в него вопреки самообману исторической памяти, а равно помехам и соблазнам текущей жизни.

### *3. К статистике всероссийского погрома*

Изменить мир можно, правильно оценив степень и характер его зависимости от мифов и институтов прошлого. Считается, что этому помогает статистика. Это далеко не так: в России «мешает» крайняя идеологизированность государственности, с одной стороны, фетишизации её деяний снизу — с другой. В результате привычные понятия начинают «гулять», вводя в заблуждение любителей клиометрических изысканий.

В начале XX в. российские этнические конфликты были, как правило, обусловлены обстоятельствами, не имеющими непосредственного отношения к национальным движениям (что, разумеется, не исключало аккумуляции элементов этнофобии). Этого не замечали либералы и революционеры, убеждённые, что всякий народ является самостоятельным и сознательным (благодаря их руководству) субъектом «прогресса». Такой образ мысли — не просто продукт эпохи Просвещения, склоняющей людей к «спрямлению» прошлого ради комфортного размещения в пространстве настоящего и будущего. Он был верой, житейски понятной, но исторически небезопасной — особенно в империи.

Бунтарско-погромную конфликтогенность в России начала XX в. уместно связать с фактором *гомознергетического* пресыщения и/или, напротив, истощения тех или иных этносоциальных пространств. Речь идёт о нарушении привычного баланса взаимоотношений между народами в результате демографических подвижек. Легко заметить, что острота этнического конфликта определяется: а) с «молодостью» контактных зон; б) степенью культурной совместимости различных этносов; в) остротой аграрного вопроса и, или производственной конкуренцией этносов; г) «плотностью» конкретной социальной среды и эмоциональной возбудимостью отдельных социумов. Менее известно другое: этническим конфликтам в России предшествовал не просто демографический бум, существенно «омолаживающий» социальную среду, а заметная «маскулинизация» противостоящих этносов. Классический случай — Северный Кавказ. Здесь предельная полиэтничность населения (близость многочисленных «чужаков») словно требовала преимущественного воспроизводства воинов в видах самозащиты. Так или иначе, избыток мужского населения провоцировал взаимную агрессивность. Если рассматривать этноконфликтность под этим углом зрения, то окажется, что здесь народы словно были подготовлены к избавлению от гомознергетического «перегрева» за счёт соседей — разумеется, в кризисные времена. Кстати, на Кавказе имелся и свой привычный объект погрома — армяне [Гатагова 2012: 82–85].

Даже непропорционально активное участие в евреев в революции можно связать с демографическим фактором: для образованной молодёжи атмосфера гетто стала казаться удушающей. То, что в период между 1897 и 1910 годами еврейское городское население выросло почти на 1 млн. человек [Слѣзкин 2007: 158], серьёзно пошатнуло этнодемографический баланс — обывателя стали возмущать «чужие» пришельцы. К тому же, спонтанная урбанизация заставляет людей забывать осторожность. Этому способствовало нарушение привычного соотношения в системе личность-социум-власть внутри «помолодевших» этносов. С другой стороны, элиминирование бюрократией сферы естественного приложения человеческих

способностей порождало возмущение — особенно со стороны множющихся диссипативных элементов — самой *властью*. При этом отщепенцы гетто оказывались в более сильном стрессовом положении, нежели основная масса интеллигенции. Именно они столь часто превращались в революционеров, которым противостояли вожаки погромных толп.

Спровоцировать традиционалистскую массу на погром довольно просто. Достаточно бесцеремонно противопоставить «новую» веру историческому опыту косного большинства.

В это очень не хочется верить. Сказывается «обольщение прогрессом», добывающегося «свободы для всех», и «оптимистичная» мораль эпохи Просвещения, согласно которой всякий народ жаждет модернизации. Очень трудно представить, что в известные времена массы могут извратить любую «светлую мечту», редуцировав эгалитаристскую доктрину до призывов «грабить награбленное». Однако именно это и произошло.

Имперские системы стабильны лишь при мощном силовом давлении верховной власти на бюрократический аппарат. Проще говоря, они устойчивы постольку, поскольку правитель держит в узде чиновников. При «либерализации» режима бюрократия забывает о своем предназначении, постепенно «приватизирует» государство и концентрируется на собственном расширенном воспроизводстве. В результате на месте иерархично выстроенных управленческих связей начинается хаотичная притирка новорожденных «наций».

По мере распада империи «справедливость» начинает утверждаться методом самосуда. Взаимоотношения между этносами опускаются на трайбалистский уровень. Это может быть использовано националистичными элитами (чаще временно) в собственных целях. Они-то стараются придать погромному хаосу политически возвышенный смысл.

В октябре 1916 г. петроградец С. Облеухов писал В.М. Пуришкевичу: «Меня в ужас приводит настроение улицы... Улица превратилась в клуб, где недовольство и возмущение объединяет всех и вся. Нужна только малейшая искра, чтобы начались поголовные погромы» [Колоницкий 2010: 23]. Похоже, что в иные времена можно физически ощутить угрозу, таящуюся в сгустках социального пространства, а затем «угадать» направление неизбежного взрыва.

При этом этнофобские манифестации оставались несостыкованными с политическими реалиями, включая так называемые национально-освободительные движения. Создаётся впечатление, что российские национализмы (как и вся политика) существовали в ином социально-информационном пространстве, нежели «профанная» обыденность. Не стоит, однако, думать, что погромы относились к девиантной периферии людского существования. Особенностью кризиса сложноорганизованной системы является то, что социально-диффузные процессы рано или поздно приобретают системообразующий характер.

\* \* \*

Прочитать этническую карту грядущего социального насилия можно было до Февральской революции, но политики, как всегда, были увлечены другим. Подлинная история — это всегда история потаённого, которое обязательно напомнит о себе, мстительно огибая стереотипы нашего несовершенного сознания. Применительно к проблеме этнофобии это можно иллюстрировать до бесконечности. Вокруг этнических конфликтов то поднимают шум, то их попросту игнорируют — отсюда и «странности» статистики.

Как бы то ни было, за 24 месяца 1917–1918 гг. зафиксировано 1603 этнических конфликта (847 в 1917 г., 756 — в 1918 г.) различной степени интенсивности и продолжительности. Эти данные нельзя считать точными. Причина не только в естественном (и искусственном) искажении информационного пространства. Интенсивность этнического насилия соответствовала накалу социальных *страстей*, а они, как известно, неклиометричны. Иной раз конфликт принимал характер изнуряющего противостояния. Так, в 1918 г. в ходе армяно-азербайджанского конфликта в Шуше враждующие стороны блокировали кварталы своих

противников, доведя их гражданское население до вымирания от голода [Мелик-Шахназаров 1995: 12]. Это была своего рода латентная форма погрома и/или этнической чистки.

Конфликты стали по-настоящему заметны в марте 1917 г. — их было зафиксировано 28 (против 7 в феврале). Пик конфликтности пришёлся на июль (137) и август 1917 г. (161), что соответствовало не только подъёму социальной напряжённости (особенно в аграрной сфере), но и росту страхов перед погромными и репрессивными действиями — как снизу, так сверху. В дальнейшем этническое насилие стало вроде бы спадать (сентябрь — 127, октябрь — 109, ноябрь — 24, декабрь — 57 конфликтов). Вместе с тем, полоса насилий казаков и крестьян Семиречья против возвратившихся из Китая участников восстания 1916 г. лишь нарастала. Возможно, к турбулентности в этнической сфере стали привыкать — тем более, что эти процессы заслонялись катастрофичными политическими явлениями. К тому же чисто этнические конфликты составляли лишь малую часть социального насилия, представленного главным образом аграрными захватами, продовольственными и «пьяными» погромами.

Начало 1918 г. ознаменовалось некоторым подъёмом этнического насилия (январь — 80), но в последующие месяцы его уровень понизился (февраль («укороченный» большевиками месяц) — 46, март — 58 конфликтов). Погромными событиями наиболее отмечены были апрель (67), май (78) и июнь (74). На фоне предыдущего года относительно низкий уровень конфликтов в последующие летние месяцы (июль — 66, август — 62), а затем их резкое падение в начале осени (сентябрь — 38, октябрь — 43), наконец, заметный рост в последние месяцы года (ноябрь — 70, декабрь — 72) выглядят необъяснимо. Однако формальная статистика коварна. Следует принимать во внимание очаговый характер конфликтности: в январе 1918 г. погромы были характерны для Крыма, в последние месяцы года — для Закавказья. При этом прежнюю (революционно-бытовую) погромную волну сменяет полоса так называемых военных погромов, пик которых пришёлся на 1919–1920 гг. Погромы стали приобретать серийный характер, представления о них искажались пропагандистами. Возможно, интернационалистическая риторика сдерживала манифестации этнофобии. Но, скорее всего, ожившая племенная ненависть просто пряталась под личиной «справедливого» классового насилия.

В 1917 г. черносотенный антисемитизм прикидывался «революционным» [Булдаков 1999]. К прежним инсинуациям в адрес евреев добавлялись все более нелепые: к примеру, участие в контрреволюционной организации, покушавшейся на Керенского (другие считали его евреем). Иные большевистские агитаторы убеждали, что «жиды-меньшевики» — «гибель для дела пролетариата» [Булдаков 2010б: 198]. Облик политических противников «этнизировался» самым нелепым образом.

1918 г. стал годом перехода от «гражданских» этнических конфликтов к «военным». Символично выглядит мартовский погром в Глухове, учинённый украинизированными и большевизированными солдатами. Их политическая ориентация оказалась эфемерной; реальностью стало то, что разложившаяся солдатская масса вымещала накопившуюся злобу на беззащитных людях, не забывая о необходимости обогатиться за счёт «буржуев». Сходный характер носили не менее кровавые акции «большевизированных» бандитов против калмыков — в данном случае ненависть к «чужаку» соединилась с аграрным насилием, расовый принцип — с «классовым» [Булдаков 2010б: 586, 635, 648, 649, 830, 839].

Каков удельный вес собственно юдофобских акций в 1917–1918 гг.? В 1917 г. их было 235, то есть 27,7 % от всех этнических конфликтов. Примечательно, что выступления против евреев стали заметны лишь с лета, причём в большинстве своем они были связаны с городскими продовольственными бунтами. Власти сдерживали стихийный антисемитизм в той мере, в какой контролировали продовольственное положение в стране.

Спровоцировать традиционалистскую массу на погром становилось все проще. Порой достаточно было бесцеремонно противопоставить «новую» веру традициям косного большинства.



Применительно к статистике 1918 г. может показаться, что погромная юдофобия поухляла. Отмечено всего 134 акции такого рода (17,7 % общего числа этноконфликтов), их оказалось несколько больше в весенние месяцы. Однако дело в том, что появлялись все новые «враги», а серийные погромы в глухой провинции обычно учитывалось однократно. С другой стороны, привычные продовольственные конфликты юдофобского характера в городах почти не фиксировались.

Число жертв еврейских погромов в 1919–1920 гг., самые жестокие из которых произошли на Украине, оценивается по-разному. С. Барон считает, что количество убитых немногим превышало 50 тыс. [Baron 1976: 184], Н. Левин пишет о 50–60 тыс. жертв [Levin 1988: 49]. По некоторым данным в период Гражданской войны в России произошло 1236 антиеврейских выступлений, 887 из которых можно отнести к действиям погромного характера. Из них 493 акции (40 %) совершили петлюровцы, 307 (25 %) — «зелёные», 213 (17 %) — белогвардейцы, 106 (8,5 %) — красные [Костырченко 2001: 56]. По другим сведениям, в 1918–1920 гг. только на Украине погромы произошли в 1300 населённых пунктах, а, в общем, имело место до 1500 погромов [Будницкий 2005: 7].

В ряде случаев погромы на Украине принимали черты обязательного ритуала. Один из их участников сообщал: «По дороге на Коростень мы перебили всех евреев, за дорогу около 500 человек» [Голос народа 1998: 52]. В середине июня на Подолии в местечко Ялтушков вошёл атаман Божко и разрешил своим сичевикам «три дня погулять». В первый же день ими были зарезаны 22 молодых еврея. Затем в течение двух дней они грабили, «шатались пьяными по улицам с обнажёнными окровавленными саблями» [Новый мир 1923: 3].

Известно, что в ходе Гражданской войны противники муссировали слухи о жестокостях друг друга: и белые, и красные создавали особые комиссии по расследованию «чужих» преступлений. Существовали и «независимые» обличители террора. Собранные теми, другими и третьими сведения о погромах расходятся. Однако исследователи соглашаются с тем, что больше всего по части насилий отличились петлюровцы и казаки, меньше всех — красные [Козлов, Финкельштейн 2000: 375–376, 425, 458, 497].

Черты изошрённого садизма, обнаруживающиеся в ходе погромов, поражают. В середине лета 1919 г. на Украине рассказывали, что евреев «заживо хоронили, бросали в воду, а если они пробовали всплыть, то их укладывали прикладами». Те, кто чудом избежал насилия, теряли дар речи и рассудок [Павлюченков 1997: 257, 258; Книга погромов... 2007: 642, 654]. Современные авторы в большинстве своем соглашаются, что петлюровцы по части жестокости превзошли и белых, и красных — творимое ими не уступало ужасам Хмельнитчины, когда еврейских детей поджаривали на вертеле, а затем заставляли матерей есть их [Ганновер 1878: 17].

Однако некоторые еврейские социал-демократы готовы были обелить Петлюру, связывая погромы с другими фигурантами и факторами: с российскими черносотенцами и уголовниками, польским «экономическим национализмом», людьми, ставшими жертвами антисемитской пропаганды. Говорили и об озлобленных украинских крестьянах, которые «вспомнили» жуткий опыт XVII в. С украинскими социалистами, господство которых не случайно было отмечено самыми страшными погромами, еврейские социалисты соглашались сотрудничать в правительстве [Гольдеман 1921: 29, 32, 36, 38, 39, 41, 49, 66]. Увы, политика и реальность продолжали существовать в разных измерениях.

Создавалось впечатление, что политиков интересует лишь количественная сторона погромов. В свое время Еврейский отдел Наркомнаца снабдил советскую делегацию на Генуэзской конференции данными на 33398 убитых, 9942 раненых и 4539 изнасилованных в результате 1200 погромов, произошедших в 819 населённых пунктах. Было указано, что эти цифры представляют лишь «третью долю причинённого бедствия» [Книга погромов... 2007: 816]. Но в июле 1920 г. тот же Еврейский отдел Наркомнаца называл цифру в 150 тыс. убитых на Украине [Книга погромов... 2007: 807].

Формально на протяжении двух лет антисемитские акции составили лишь 23,2 % всех этнических столкновений. Но данные революционного времени скорее отражают степень доступности тех или иных заинтересованных групп к нужной информации, а равно и умения её интерпретировать. А потому националистические политики могут до бесконечности использовать извращённую «энергию воспоминаний» в своих личных целях. Как результат, в наблюдаемом пространстве *longue durée* то и дело наблюдается ротация «палачей» и «жертв».

Как бы то ни было, под покровом спонтанного насилия происходило восстановление имперской парадигмы властвования. Увы, возникновение «порядка из хаоса» включает в себя жуткие по современным этическим меркам эксцессы. Их динамику рано или поздно придётся расшифровать, несмотря на всю тягостность этой работы. В противном случае нам суждено бессильно склониться перед мифами прошлого, помноженными на наивности нынешнего дня.

#### 4. От империи к демократии, от демократии к погрому?

История русской революции писалась политиками, точнее — доктринёрами, не желающими признавать языка хаоса. Все они, включая большевиков, в конечном счёте, проиграли. Вслед за тем «проиграло» и наше понимание революции. Оно до сих пор, так или иначе, связывается с демократией, хотя следовало бы связывать его с Хаосом.

Как ни странно, короткая история Временного правительства России остаётся недописанной. Почему-то никто — и противники демократии, и ненавистники бюрократии — не отваживаются признать, что все реальные недостатки и пороки той и другой превращаются в настоящий стимулятор тех скрытых сил истории, которые таятся за пределами их доктринально-канцелярского разумения. Демократия эффективно «работает» только в относительно культурно гомогенной, эмоционально устойчивой или привычно сбалансированной этносоциальной среде, но никак не в условиях «столкновения цивилизаций», подготовленных «застойным» имперским существованием. В условиях кризиса империи демократия попросту не успевает за развитием «непривычных» событий. Постимперские «национализмы» (на деле пробуждение племенной ненависти) — это напоминание о той варварской изнанке человеческой культуры, о которой людям эпохи Просвещения хочется забыть. Поскольку это не получается, дикость иной раз начинает романтизироваться. Отсюда познавательные «ступоры» демократии.

Очевидно, что характер всякого социального насилия связан с характером и уровнем деструктивности переживаемой эпохи, захваченной теми или иными идеями и иллюзиями. Процесс внедрения любых «передовых» идей чреват реактивацией архаики. Всякую новую «несправедливость» легче всего перевести на привычный язык этнической вражды. Революционная смута в разваливающейся империи — это не просто кровавый маскарад, а череда этносоциальных переодеваний ради избавления от мифического «чужака».

Постимперские национализмы проявляют себя, прежде всего, в форме противостояния этнорегиональных элит слабеющему центру. Напротив, этноконфликты выступают как стихийные акции против «угрожающих» соседей. В первом случае это по преимуществу бунт, во втором — погром. Обычно этой принципиальной разницы между местными национализмами и этноконфликтностью не замечают.

Лишь в последнее время, когда хрупкость человеческого существования стала ощущаться на уровне глобализованной повседневности, исследователи стали основательнее вглядываться в феномены социологически непредсказуемого и нравственно шокирующего свойства. Приходится соглашаться, что ничто так не стимулирует насилие, как ненависть (особенно подсознательная) маргиналов к «благополучным» социумам; Ф. Ницше назвал её французским словом *Ressentiment* («неосознанная зависть»). В экстремальных обстоятельствах «человек толпы» удивительно легко «вспоминает» того, кто изначально записан врагом в его

исторической памяти (Э. Канетти). Всякую опасность — как реальную, так и воображаемую — он начинает связывать с образом *традиционного* и/ли вымышленного врага, выстраивая между ними всевозможные фантазийные взаимосвязи.

Как результат, в экстремальных обстоятельствах даже в «классическом» классовом конфликте появлялся невидимый дополнительный стимулятор в лице этнофобии. Отсюда «пролетарские» погромные действия (избиения и убийства администрации, «вывозы на тачках», акты позорной стигматизации и т. п. [Булдаков 2010а: 148, 150, 160, 163, 170, 173–174]), а равно и разгромы помещичьих усадеб или кулацких хуторов. А потому всякую причину кризисных подвижек в истории стоило бы искать за пределами привычных причинно-следственных связей. Ни одну проблему нельзя решить на том уровне, на котором она возникла (А. Эйнштейн).

Там, где общество как таковое задавлено, взрыв неатрибутированного недовольства столь же неизбежен, насколько закономерно этнизированное представление людей об истоках своих несчастий. Этому способствуют и искусственные «сгустки» социального пространства — не столько аграрное перенаселение и концентрация традиционалистских масс на заводах и фабриках, сколько «ситуативные социумы», вроде очередей за хлебом (преобладающие здесь женщины вносят в поведение охлоса черты истерии).

Своим вызывающим поведением диссипанты взламывают привычное информационное пространство. К охлосу начинают «липнуть» всевозможные слухи — это хорошо видно на примере десакрализации, а затем негативной стигматизации царской семьи. Именно наиболее примитивные и пошлые наветы начинают формировать векторы недовольства толп. При этом людская масса не знает «средних» настроений: она легко прощает тех, которых только что намеревалась растерзать; убивает тех, кому недавно поклонялась.

Среди современных политологов бытует мнение, что этнический конфликт может быть остановлен извне — достаточно развести враждующие стороны. При этом чаще всего ссылаются на недавний опыт Югославии (При этом авторы исходят из того, что к радикальным националистам активно подключаются всевозможные уголовные и садистские элементы — своего рода «осмелевшие трусы» и мародёры, легко управляемые определённого сорта политиками [Nationalism and Ethnic Conflict... 2001: 98–99]). Но вряд ли это представление вполне корректно — если динамика взаимного недоверия миновала «точку невозврата», третейские усилия будут безрезультатны. Более того, «цивилизованное» вмешательство в «примитивные» конфликты скорее подливает масла в огонь: африканский опыт (обычно забываемый) — характерное тому подтверждение. В любом случае накал и взаимного ожесточения в русской Гражданской войне был таков, что внешнее вмешательство не спасало ситуацию. Этнические конфликты скорее способны затихнуть сами по себе, нежели стать податливыми объектами благостного миротворчества — демократия не годится усмирения того, что вышло из тьмы веков.

Интенсивность насилия связана не с тем, насколько сумасшедшими, голодными или сексуально неудовлетворёнными являются люди, а с теми полузабытыми образцами традиционалистского поведения, которые реанимируются возникшим хаосом. Попросту говоря, в критических обстоятельствах «бесы прошлого» заставляют людей действовать согласно примордиалистским обычаям. И в этом нет ничего противоестественного. Если допустить (а иного не остаётся), что в социально-историческом континууме взаимодействуют два главных субъекта людского бытия — общечеловеческое информационное пространство, и «племенная» энергетика, то очевидно, что таинственный *homo historicus* при известных условиях начнёт подавлять существо, воображающее себя *homo sapiens*'ом.

\* \* \*

Люди издавна романтизировали войны. Теоретически «справедливые» войны способны выковать нацию. Казалось, в начале XX в. у России появился такой шанс [Sanborn 2003]. Но

что случится, если война покажется народу «чужой»? Не будет ли он увлечён соблазнами совсем иного порядка?

Человечество не раз вступало в полосы тотального самообмана. Ослабление имиджа королей и империй вовсе не открывает простор «народному суверенитету»; их место заступают литераторы и философы, провоцирующие «диктатуру мифа» [Моррас 2003: 20–21]. В её ауре скрывается и идеалист, взывающий к «светлому будущему», и погромщик, готовый за его спиной к зачистке мира от всех «недостойных». Остаётся только понять кто, где и почему будет наиболее подвержен погромному хаосу.

Некоторые западные авторы объясняют кризисность Российской (и советской) империи тем, что она, составляя социокультурное целое, вместе с тем оставалась *периферией* Европы, а потому наиболее остро реагировала на общеевропейские идейные поветрия и катаклизмы [Ливен 2007: 46; Страда 2007: 11]. К этому стоило бы добавить, что в отличие от европейской цивилизации, несущей в себе гены самоодернизации, Россия представляла собой *традиционную* империю. Модернизация (невозможная без развития *самоуправленческих* потенциалов) *sui generis* обрекала самодержавие на *самоустранение*. Немногий «помазанник Божий» мог бы на это согласиться, а потому «слабая» власть бралась за абсурдную задачу форматирования социального пространства под собственные немощи.

Приходится учитывать и то, что имперское существование на обочине мир-системы тянет к подражательности. Российские верхи наивно тянулись к Европе, низы, напротив, склонны были спонтанно отстаивать свою «самость». Как результат, резонирование ритмов европейской и российской истории порождало кризис идентификации. И если российские верхи по инерции пытались подменять собой воображаемые «общество», «классы», «народ», а низы упорно держались старого как мир принципа «свои — чужие», то всем им суждено было предстать друг перед другом в образе врага.

В сущности, любое социальное насилие — включая политически и идеологически заострённое — по мере своего ожесточения приобретает архаичные формы и примордиалистское наполнение. К началу XX в. это особенно заметно проявилось в империях традиционного типа (Австро-Венгрии, Турции, России), где одряхлевшая власть склонна была различать лишь «свои» служилые сословия, игнорируя новые культурные элиты и меняющиеся векторы устремлений масс. Между тем, в условиях невиданного уплотнения информационного пространства этнические сообщества вообразили себя нациями, причём угнетёнными. Движение недовольных людей, сомкнувшись с иллюзиями социализма, стимулировало наиболее архаичные пласты их сознания и подсознания.

Современному человеку трудно поверить, что социальное пространство, шаблонно именуемое «русской цивилизацией», на деле не только не представляло собой культурного целого, но и, напротив, несло в себе вирус перманентного раскола [Ахиезер 2000; Ахиезер, Давыдов., Шуровский, Яковенко, Яркова 2002]. ещё труднее бывает убедить в том, что бывшая нестяжательская «ересь» вкупе с идеей III Рима могла быть реанимирована в «русском коммунизме». А между тем любая традиционная империя, проморгавшая императивы будущего, обречена на дикое «проседание» культуры. А её «неразумные» подданные, взявшиеся подталкивать «колесо истории», будут безжалостно раздавлены его закономерным откатом назад.

Паранойя не болезнь — скорее это «дежурная» форма сознания, унаследованная от доисторических времён. Это естественная форма «духовного» существования традиционного общества, со временем редуцирующаяся до обычая, навыка, ментальной привычки, освящённых религией. Её подпольное существование в «современном» обществе может оставаться незамеченным. Маниакальная подозрительность обостряется в период ощущения необъяснимой угрозы.

Параноидальные страхи и фантазийные миропредставления резонируют и обостряются под воздействием самых разнородных факторов. Их может спровоцировать и элементарное кликушество (ныне часто выступающее под личиной «аналитики»). В общем, они пробужда-

ются под воздействием «нераспознанных» факторов. И тогда обнаруживается, что погромщики не одиноки — они окружены броней тайного сочувствия со стороны «своих».

Очевидно, что среди застрельщиков погрома всегда будут преобладать разного рода изгои, маргиналы, мигранты. Для них коллективное насильственное действие — всего лишь форма социализации в экстремальных условиях. Втягивая окружающих в массовое насилие, они обретают «нормальную» идентичность. Взбудораженное общество, со своей стороны, «стабилизируется» на стадном уровне.

Не удивительно, что среди погромщиков заметны фигуры детей и подростков — для них это своеобразная форма инициации. В этом нет ничего нового: массовые социальные и этнические движения Средневековья инстинктивно пародировали религиозные движения и эксцессы прошлого. Исследователи отмечают, что юноши и даже мальчики в возрасте 10–12 лет играли поразительно важную роль в действиях как католических, так и протестантских толп [Дэвис 2006: 157]. Этот феномен напомнил о себе уже в Февральской революции, не говоря о Гражданской войне.

Религиозные войны никогда не были борьбой «за веру» в чистом виде (хотя нельзя недооценивать привязанности людей к магическому компоненту привычной конфессии). То же самое можно сказать и об этнических конфликтах. Ведь не приходится пояснять, что только с прогрессом цивилизации люди стали признавать право на «инаковость», далеко не сразу «чужой» перестал быть синонимом варвара. Впрочем, «прогресс» выстраивает свои иерархии «друзей», а главное — «врагов». Совершенно очевидно, что подозрительность вызывают не просто «иные», а материально *успешные* этносы ближайшего окружения, кажущиеся, к тому же, наиболее сплочёнными. Людская настороженность по отношению к ним начнёт перерастать в ненависть по мере общего роста социальной нестабильности. Именно тогда там даже на месте межэтнического сотрудничества, может вырасти образ врага — не просто непонятного, но и отвратительного.

Существо, лишённое инстинктивной программы поведения — а именно этим отличается *homo sapiens* от животного, — слишком зависим от указаний «свыше». В сущности, человек не может обходиться без них. «Цивилизованный» человек — это всего лишь присмиривший перед образом «сурового отца» (жёстких табу или неумолимого закона) *enfant terrible*. Стоит угрозе ослабнуть, и он начинает жестоким образом «чудить».

Уничтожить «чужого» гораздо проще, нежели сравняться с ним в видах самосовершенствования. Поэтому предпочтительным объектом погрома на протяжении всей европейской истории оказывался *еврей* — тот самый, который при всей своей «инаковости» стремился войти в симбиозные отношения с господствующим этносом. Человек всегда жил в окружении «чужих», выстраивающихся в своеобразную иерархию — от «значимых» до нейтральных, от «угрожающих» до терпимых, от «понятных» до таинственных. При всей своей бытовой значимости еврей оставался наименее понятным, а потому наиболее угрожающим в непредвиденных обстоятельствах существом.

Погромы часто связывают с обыкновенным желанием пограбить. Этот фактор действительно обычно сопровождает погромные действия. Но для этнического насилия характерно не только и не столько присвоение, столько разрушение психически *раздражающего* чужого. Отнюдь не идеализируя насилие, следует признать, что в пространстве большого исторического времени погром — это дикая форма восстановления привычного; это ещё и культурно «защитное» действие.

Погром включает в себя определённую ритуалистику и символику. Наиболее ужасают случаи осквернения трупов — обряд, возродившийся, к примеру, во Франции XVI в. в ходе столкновений католиков и гугенотов [Дэвис 2006: 125–127]. Но в целом этнические погромы оставляют ещё более причудливые вульгарно-экстатические отметки. Если религиозное насилие связано не только с областью патологического, сколько со сферой нормального во «вчерашней» жизни, то этническая агрессия отмечена «позавчерашними» формами утверждения

«нормы». Отсюда стремление к захвату жизненного пространства — будь то территория, скот или женщины. Впрочем, в России начала XX в. территориальный момент обозначил себя относительно слабо. Напротив, позже в связи с возрастанием плотности жизненного пространства он проявил себя куда более основательно. Накал этнофобии начала XX в. в России вообще выглядит относительно слабым сравнительно с последующими событиями европейской истории.

Обращает на себя внимание ещё один момент. Погромщики столь же быстро выплёскивали накопившуюся ненависть на вполне случайных людей, как и остывали. К примеру, те самые люди из местных Советов, которые безуспешно пытались сдержать черноморских матросов в январе-феврале 1918 г., в марте уверенно выносили на глазах у них оправдательные приговоры тем, кого они не успели дорезать. Среди последних могли оказаться «контрреволюционные» мусульмане и офицеры с «немецкими» фамилиями. ещё более поразительны акты публичных «покаяний» палачей. В конце февраля 1918 г. один из моряков «со слезами на глазах» уверял, что когда он «бросал в море офицеров и спекулянтов», то думал, что делает «хорошее дело». По его заверениям, его товарищи, принимавшие участие в расстрелах, считали, что «поступают, как честные революционеры» [Зарубин, Зарубин 2008: 282, 293].

Описаны случаи, когда палачи рыдали у гроба своих жертв, узнав, кем те были на самом деле [Зарубин, Зарубин 2008: 284]. Всякая революция раскручивается путём истеричного самообмана. Так бывает во всякой смуте. И проще всего обмануться относительно людей «чужой» крови.

\* \* \*

Прежде, чем обратиться к фигуре погромщика, стоит, хотя бы мысленно, остановиться на «циничном» вопросе: какой психический, а может быть и психосоматический эффект даёт насилие над чужим? Попросту говоря, какие следы акт насилия (как физического, так и символического) оставляет в душах людей? И не надо спешить с морально выверенным ответом — «правильно дозированное» насилие над чужим может освободить человека от стресса безысходности. В мире все взаимосвязано — адекватное прочтение самых загаженных страниц обыденной истории расскажет о её «закономерностях» куда больше стандартных социологических прогнозов.

Не приходится сомневаться, что исторически участие в насилии обеспечивает более высокий социальный статус человеку в условиях, когда мало кто сомневался в «справедливости» такого деяния. Насилие «возвышает» одних через унижение других. Формула: «Кто был ничем, тот станет всем!» — стара, как мир. По мере социализации человек лишался доступа к природным каналам насилия; это, с одной стороны, заставляло его бессознательно тосковать «по шуму битвы», с другой компенсировать его отсутствие с помощью зрелищных и фантазийных суррогатов. И это несмотря на то, что в реальной жизни люди склонны избегать насилия, ибо страх физической конфронтации закодирован в глубинных структурах человеческого мозга. Именно поэтому люди делегируют функции насилия государству и на этом основании выстраивают свое социальное поведение. В имперские системы встроен механизм погашения «насилия снизу» и минимизации жертв. Но что происходит, если обществу начинает казаться, что насилие со стороны государства превысило «оптимальные» пределы? Или, напротив, если возникает соблазн безнаказанного самоутверждения за счёт заведомо слабого за спиной у подслеповатой власти?

В принципе этнофобия новейшего времени связана с феноменом противоборства культур в социальной среде, резко уплотнённой и/или взвинченной идеологией; здесь нет места «чужому». Рост агрессивности происходит по схеме, называемой в физике «экстремальным ростом малых возмущений», или, если прибегать к медицинским аналогиям, в условиях, когда привычные болячки приобретают канцерогенное свойство. При этом активизируются как устойчивые негативные этнопредставления, так и ситуационные опасения. Именно это

происходило в Закавказье и на Северном Кавказе — типичном регионе многомерной конфликтности.

В условиях хаоса насилие масс неизбежно выходит из-под контроля (зачастую мнимого) со стороны государства и элит. Это связано с самыми разнородными обстоятельствами: слабостью и бессилием жертвы, подстрекательством толп, резким изменением обстановки. Статическое напряжение оборачивается спонтанной развязкой, если прежнее равенство сил нарушается в результате неожиданной активизации одной из сторон. В общем, погром — это «обычная» реакция на шокирующие традиционализм обстоятельства.

Насилие со стороны тех или иных социально подавленных групп — от сопротивления до агрессии — содержит в себе подсознательное стремление к восстановлению привычного баланса власти-подчинения. Это особенно заметно в связи с разгулом изнасилований женщин. По мнению П. Бурдьё первобытные формы «мужского» социального господства считались до такой степени непреложными, что отказываются видеть в своих действиях нечто противоестественное [Бурдьё 2005: 292]. Человек стремится к воссозданию «природных» иерархий, используя первобытную символику, а тем временем демократия будет непонимающе и беспомощно взирать на это.

### 5. Углубление революции или эскалация погромного насилия?

Поставив вопрос о феномене погрома, предстоит добраться до его глубинных истоков, обычно скрывааемых за современным словоблудием, растущим в геометрической прогрессии в связи с «достижениями» *mass media*. Люди всегда охотно обманываются ради утопий и иллюзий, и потому историку постоянно приходится срывать их легковесные покровы ради более надёжной брони знания. В эпоху войн и революций социальные факторы «этнизируются». И это притягивает вожаков характерного пошиба, включая *этномаргиналов*, отчаянно пытающихся преодолеть трудности персональной идентификации под знаменем национализма.

Все это наиболее отчётливо проявилось при погромах времён Гражданской войны. Несчастливым жертвам приписывалась поистине демоническая злокозненность, от которой следовало избавиться любым способом. Естественно, что наиболее активны в поиске наиболее подходящей жертвы оказывались толпы дезертиров. Люди, изменившие присяге, то есть утратившие навязанную идентичность, пытаются обрести её подобие агрессивно-экстравертным путём — через насилие над новым, мнимо-угрожающим или «виктимным» противником.

Поводы для антисемитского погрома были традиционными: в октябре 1905 г. погромщики утверждали, что евреи-революционеры обстреливали патриотические демонстрации, а во время Первой мировой войны евреи якобы стреляли по отступающим войскам. (Сходным образом слухи о стрельбе бельгийцев «в спину» были распространены в 1914 г. среди немецких солдат [Horne, Kremer 2001]. Налицо типичная аберрация восприятия непредсказуемой угрозы). Вольная или невольная предпогромная перверсия сознания — явление распространённое: жертва выставляется «агрессором» ради снятия с себя ответственности за предстоящего насилия. В годы Гражданской войны украинские националисты распускали слухи, что евреи вводят лошадей в церкви, забрасывают православные похоронные процессии тухлыми яйцами [Книга погромов... 2007: 484]. Бандиты всегда выступают под чужой личиной, погромщики революционного времени стараются предстать борцами за справедливость.

Конечно, основу погрома составлял обыкновенный грабёж. При этом погромщики невольно демонстрировали собственное лицо: белогвардейцы собирали «дань» в манере рэкетиров, поляки обирали население, пугая поджогами [Книга погромов... 2007: 576]. Петлюровцы пытались организовано взыскивать «контрибуции», однако это сопровождалось массой изнасилований — как малолетних, так и старух — иной раз бандиты совершали это

публично, под хихиканье зрителей [Книга погромов... 2007: 126, 130, 158, 239, 259]. Поистине изуверский характер принимали насилия красноармейцев над калмычками [Булдаков 2010б: 862, 870, 896].

Возникает вопрос, как реагировали на погромы соседи-христиане? В общем, вырисовывается малопривлекательная картина. Изредка евреев спасали от смерти простые люди, иногда за них заступались православные священники, включая «черносотенных» [Книга погромов... 2007: 631, 697, 123, 126, 128, 136]. Однако, создаётся впечатление, что большинство погромов происходило при молчаливом сочувствии ближайших соседей. Демонстративное насилие становилось возможным *только* при этом условии.

Строго говоря, в русской революции и последовавших за ней кровавых событий XX в. нет ничего такого, чего бы человечество не пережило в прошлом. «Новое» проявило себя лишь в массовидности насилия и идейно-политических оболочках, которыми оно прикрывалось. Обыденное сознание, тем не менее, склонно считать «свое» время уникальным. Напротив, современные этноконфликтологи всякий раз концентрируются на форме, минуя историческое содержание насилия.

Нет сомнения, что участники погромов вовлекались в насилие отщепенцами, ощущая себя при этом «коллективным телом», руководствующимся «инстинктом истины» и призванным повергнуть «врага». Но если механизм назревания погрома может быть описан с помощью Г. Лебона или С. Московичи, то чем объяснить «остывание» погромной среды? Только ли «усталостью от насилия»?

Конечно, можно сослаться на особую психологию российского бунта. То, что принято именовать «бессмысленным и беспощадным», на деле сигнализирует о готовности уничтожить «чужую» модель социальности в пользу пусть постылого, но «надёжного» порядка. Главный урок российской смуты элементарен: возникшие в её ходе диффузные социальные группы и «бунташные» социумы в не выдерживают давления *идеи* государственного порядка. Для людей, не привыкших к самостоятельному принятию социально ответственных решений, в этом нет ничего необычного.

Во Франции в XVI в., в Англии в XVII в., в России XVII и начала XX в. негодующие и голодные толпы оправдывали свои действия тем, что «действуют вместо правительства» — их успехи в давлении на историческую власть выглядят впечатляюще. Человеческая агрессивность — своего рода инстинкт, служащий видовому самосохранению. В России этот инстинкт преломлялся через идею Государства. Ничего особенного: в отличие от животных, у людей инстинкт власти-подчинения может приобрести гротескные формы (К. Лоренц). Сами погромщики со временем передоверяют идею порядка-справедливости *государству* — это отличает даже таких людей от стадных тварей. Социальное насилие, как таковое, не исчезает, оно лишь частично выдыхается после смуты, начинает «стыдиться» самого себя и потому принимает замещённые формы.

Полностью принимают идею насилия, как основного двигателя истории, только революционные отщепенцы. Но они не способны понять природы происходящего, ибо являются доктринёрами, а, победив, превращаются в догматиков. Что касается «объективных» учёных, то у них свои «слабости». В любом случае расставание с иллюзиями прошлого в окружении мифов настоящего даётся с трудом.

Совершенно очевидно, что революционная смута в России представляла собой синергетический процесс, внутреннюю динамику которого в значительной степени определяли этнические — примордиалистские по определению — конфликты. Решающее значение имел её охлократический этап — именно он, а не эфемерные утопии, определил параметры будущего. Толпа не может существовать без «образа врага». «Включение» его стимулируется ощущением опасности, а облик определяется социальным инстинктом, подправляемым исторической памятью. Внешняя опасность обостряет внутрисоциумную подозрительность — отсюда потребность в «козлах отпущения». Однако, похоже, что с прогрессом цивилизации



люди, отказавшись от принесения в жертву «своих», охотнее начинают жертвовать «чужими». Последней «жертвой» стадного буйства становятся те пассионарии, которые вольно или невольно вдохновляли людей на погром — не удивительно, что самой осуждаемой фигурой советской истории стал еврей Троцкий.

Этнофобия, как и всякий другой выплеск подавляемой в прошлом агрессивности, особенно характерна для «избыточно эмоциональных» людей, привыкших терпеть, а не отстаивать свои права.

\* \* \*

Насилие русской Гражданской войны упорно ассоциируется с еврейскими погромами. Между тем, если сравнить картину 1918–1920 гг. с погромным насилием русских войск времён Первой мировой войны, то окажется, что дело вовсе не в антисемитизме. Застрельщиками общероссийского Погрома становились толпы расхристанных солдат, ведомые фанатиками на этноконтактных территориях. Перед ними политики были бессильны, ибо в их доктринах не было места для учёта первозданной энергии взаимной подозрительности.

Этнофобская черта революции усиливалась. Социальное и этническое причудливо перемешивалось; революционные акции перерастали в этнические чистки. В 1919 г. обнаружилось, что на Урале башкирские повстанческие отряды грабили в основном русские деревни. В свою очередь большевистские каратели с готовностью направляли свои репрессии против башкир [Мардамшин 1999: 73]. В 1920 г. в Уфимской губернии во время восстания «Чёрного орла» его руководители не смогли сдержать крестьян, практиковавших бессудные расстрелы [Булдаков 2010б: 1023].

В обрядах революционного насилия обнаруживается не просто желание обезвредить и обесчестить «врага», но и очистить от него «свою» землю. Отсюда многочисленные акты позорной стигматизации и последующих утоплений и сжиганий людей.

С иноверцами обходились особенно жестоко. В июле 1919 г. в Закавказье кровавые конфликты между мусульманами и армянами окончательно переросли в межгосударственное столкновение [ГА РФ. Ф. 9431. Оп. 1. Д. 73. Л. 18–18 об.]. В ходе «классовой борьбы» использовались этнические пособники. В 1920 г. красноармейцы 11-й армии в борьбе против азербайджанских повстанцев охотно прибегали к услугам армянских боевиков (впрочем, и их не щадили). В 1920 г. при подавлении антибольшевистского восстания в Елизаветполе было уничтожено 40 тыс. мусульман в качестве «контрреволюционеров» [Мельгунов 1924: 149]. (Впрочем, скорее всего, эта цифра завышена — таковы обычные последствия испытанного эмоционального шока).

Характерно, что втянувшись в насилие люди не только обретали, но и теряли свое этническое лицо. В 1920 г. в настоящее бедствие в Уссурийском крае превратились набеги хунхузов. Объектами насилия становились не только русские, но и корейцы; среди хунхузов были замечены русские [ГА РФ. Ф. 9431. Оп. 1. Д. 248. Л. 1–3]. Со временем появились «красные хунхузы», которых пытались использовать китайские левые [Ершов 2010: 205–206].

В Туркестане получил свое развитие этнический конфликт, начавшийся ещё в 1916 г. И дело было вовсе не в том, что «колонизаторы, стремясь разжечь национальную рознь, натравливали русское население Семиречья на повстанцев», как уверяют современные казахстанские авторы [Кузембаулы, Абилов 1996: 304]. Внутриимперское «столкновение цивилизаций», обострённое аграрным фактором, начавшись с непредумышленной провокации центра, стало разрастаться при демократической власти. Декларативный интернационализм большевиков не смог спасти край от межплеменной вражды [Булдаков 2010а: 154; Исхаков 2000: 436–437].

Этнофобии были подвержены не только «отсталые» народы. В ходе гражданской войны в Финляндии русских то и дело расстреливали не только как наследников ненавистной империи и/или пособников «красных», но и просто как русских [Мусаев 2014: 488–491].

\* \* \*

В современной литературе можно встретить отголоски старых большевистских легенд о том, что Гражданская война началась с «вмешательства империалистов» [Polakov 2000: 32, 34]. На деле малочисленные интервенты сыграли роль катализатора *внутрироссийского* насилия. В результате карательных действий иностранных войск (относительно безобидных) традиционные этнические взаимопредставления приобретали глобальное качество — казалось, *весь* мир переполнился сонмищем «чужих». К привычным врагам добавлялись новые: немцы на Украине, англичане — на Севере, турки — на Кавказе, чехословаки — в Сибири, японцы — на Дальнем Востоке.

На протяжении Гражданской войны политические доктринёры постоянно упрекали друг друга в потворствовании национальной розни. На Кавказе подозревали и обвиняли своих привычных политических визави тифлиссские и бакинские социалисты, казаки и представители горских народов, не обошлось без подозрений и в адрес «буржуазных деятелей», якобы разжигающих конфликты. Естественной логики этнических столкновений политики не хотели замечать. Разумеется, были и исключения. Иногда посредническая роль политиков (обычно муниципального уровня) давала положительный результат. Кое-где при их участии возникали локальные очаги межэтнического сотрудничества, направленного против уголовников и погромщиков: так, в Грозном на охрану русских обывателей большевики смогли поставить отряд чеченцев [Шляпников 2002: 130–137]. Но куда чаще меньшинства — не без помощи политиков определённого сорта — поголовно приравнялись к злокозненным бандитам. У белогвардейцев (даже среди генералов) ненависть к «самостийникам» стала поистине неуправляемой. Коммунисты, завоёвывая окраины, взвинчивали себя образами «буржуазных националистов». Крестьянские восстания в Сибири в 1920 г. часто проходили под лозунгом «долой коммунистов и жидов!» [Шишкин 1997: 270, 468, 471, 473, 491, 495, 545–547]. Нечто подобное наблюдалось и в Центральной России [Осипова 2001: 307].

Повсеместно возникали этнополитические парадоксы: головку махновщины составляли идейные анархисты-евреи, а осуществляли юдофобские акции крестьяне-погромщики. Ведомые Троцким красноармейцы охотно грабили евреев. У белых творилось нечто подобное — офицеры и казаки, готовы были растерзать притаившихся в тылу «масонов».

В связи с интервенцией менялось представление о «главном враге». Ненависть к вооружённым пришельцам особенно выросла к концу Гражданской войны. Весной 1920 г. в Николаевске на Дальнем Востоке красные партизаны под руководством 23-летнего анархо-коммуниста Я. Тряпицына вырезали несколько сот пленных японцев (их считали виновными в расхищении рыбных богатств края) [Хара 2001: 96, 102, 105]. Затем развернулось планомерное уничтожение жителей города, разделённых на пять категорий по «этноклассовому» принципу. (В первую категорию, конечно, попали евреи, во вторую — офицеры и члены их семей) [Романова 2001: 153]. Похоже, насильникам хотелось продемонстрировать свою революционную «непреклонность». Город был сожжён, в ходе 10-дневной резни было уничтожено до 2,5 тысяч человек. Тряпицына (из крестьян), начальника его штаба Лебедеву (21-летнюю москвичку), а также пятерых их поделщиков большевики расстреляли по стандартному обвинению в дискредитации Советской власти.

На «государственном» уровне преодолеть хаос этнической ненависти было некому: общей ситуацией управляли смутные импульсы, исходящие от традиционалистских низов. Так, противникам большевиков особенно сложно пришлось в «молодых» этноконтактных зонах. Горцы по наивности считали, что, поскольку красные воюют против их исконных врагов — казаков, то сам Аллах повелевает им встать на сторону большевиков. Между тем, белым для победоносного похода на Москву надо было иметь надёжный тыл. Следовало также обезопасить от грабежей хозяйства русских и немецких колонистов, а также терских казаков — поставщиков хлеба для армии [Деникин 2003: 163]. Решено усмирить чеченцев простейшим

способом — последовательным уничтожением их селений артиллерией. Это удалось, чеченцы, поставленные на грань геноцида, примкнули к «сильному», поставив белогвардейцам своих добровольцев [Писарев 2000: 83–95]. Примечательно, что добровольцы, участвовавшие в «очищении Кавказа», пользовались среди белогвардейцев особым авторитетом [Гиацинтов 1992: 71]. Однако симпатии горцев к той или иной стороне оставались непрочными. Поворот настроения мог произойти неожиданно, по случайному поводу.

Инородцы порой использовали свою службу у белых (как и у красных) для сведения племенных счетов. Вероятно, нечто подобное лежало в основе расправы командира Дикой дивизии Султан Килеч-Гирея над адыгами, сочувствующими Советской власти [Почешхов 1998: 102–103]. Особой жестокостью у белогвардейцев отличался армянский отряд: про его бойцов говорили, что они отрезали уши у убитых [Мамонтов 2001: 218]. Врангель однажды приказал повесить пятерых грабителей из Горской дивизии, запретив хоронить их в течение суток [Врангель 1992: 237].

К концу Гражданской войны белогвардейцы буквально пропитались ненавистью к «зловредным сепаратистам». Среди них оказались и грузины, вынужденные их интернировать, и азербайджанцы — считалось, что они поджидают, когда белогвардейцы и большевики уничтожат друг друга [Добрынин 1923: 98, 232]. Собственное политическое бессилие стимулировало этнофобию. «Дрались и с большевиками, дрались и с украинцами, и с Грузией и с Азербайджаном, и лишь немного не хватило, чтобы начать драться с казаками, которые составляли половину нашей армии», — выговаривал позднее Врангель Деникину [Врангель 1992: 73–74]. Но никакой альтернативы белогвардейской этнополитике он не предложил. Время прежней империи ушло, её редуцированные варианты не принимались инородцами.

\* \* \*

Как ни парадоксально, большевистский интернационализм также подпитывался энергией застарелой этнофобии.

В советские времена были написаны горы книг о так называемых зарубежных интернационалистах, бесстрашно сражавшихся в Красной Армии. Для большевиков иностранец, вставший с оружием в руках в их ряды, символизировал победоносное шествие мировой революции, противостоящей «международному империализму». Их противники воспринимали интернационалистов иначе — как нашествие вражеских сил на родную землю. Отсюда и белогвардейские представления о многочисленных «немцах и жидах, венграх и китайцах», на штыках которых только и держится большевизм, и комиссарские рассказы о нашествии «14 империалистических держав» на Советскую Россию.

Белогвардейские пропагандисты намеренно утрировали «нерусский» облик большевистской власти. Они постоянно подчёркивали, что помимо евреев особой свирепостью у красных отличались латыши, немцы, венгры и, особенно, — китайцы (именно им приписывались чудовищные пытки, вроде сдирания с живых людей кожи или выкручивания половых органов). Называли также имя садиста-армянина. С другой стороны, под знаменем Интернационала расстреливались евреи, немцы-колонисты, поляки-заложники [Красный террор... 1992: 112, 117, 129, 159, 163, 211, 239, 240, 246, 250, 255, 258, 265, 266, 274, 283, 285, 287]. Ленин в 1920 г. предлагал «принудительное отчуждение пахотных земель у казаков для наделения ею горских племён», считавшихся классовыми союзниками [Ленин 1999: 350].

В разных регионах «интернационализм» обретал свой собственный стиль. Придя к власти, большевики поспешили объявить себя принципиальными борцами против притеснителей мусульман. Кое-где это встретило понимание. Отмечали, в частности, увлечение «группы религиозно-национально настроенных учеников духовной школы» большевистской революцией, уверовавших, что она «принесёт Кабарде обновление слова пророка Магомеда и народной души» [Чхеидзе 2004: 190]. Однако вскоре «жертвам империализма» суждено было превратиться в жертв коммунизма. Так, на территории Азербайджана в 1919 г. местные

большевики периодически склонялись к тому, чтобы объявить всех мусульман «разбойниками» [Добрынин 1923: 110–111, 123, 125]. По своему типична история Энвер-паши: инициатор резни армян в Турции стал сторонником Ленина, а затем превратился в одного из руководителей среднеазиатских басмачей, погибнув в 1922 г. с Кораном в руках [Старков 2007: 292–314].

На Северном Кавказе иные миссионеры Интернационала решали свою задачу по исторически проверенной схеме: не желавшие принять их «истинную веру» просто уничтожались. Разумеется, противник не оставался в долгу [Булдаков 2010б: 1031]. Однако реальный итог «красной смуты» диктовали именно те, кто своей нерассуждающей «идейной» жестокостью готов был превзойти завоевателей прошлых веков.

Сторонники Ленина не уставали твердить о борьбе с «националистическими пережитками» в собственной среде. Однако антисемитизм оставался больной реальностью революции. Осваговские деятели уверяли: «Разбитые под Бахмутом эшелоны красных... имели вагоны, на стенах которых были надписи: „Бей жидов, спасай Россию!“» [Бутаков 2002: 452]. И если сегодня в этой информации можно усомниться, то в годы Гражданской войны в неё легко было поверить. В июле 1921 г. Ленину поступила информация о погромах в Белоруссии, учинённых красноармейцами [Ленин 1999: 401–402, 457]. Знаменитый Ф. Миронов был ярким антисемитом, что, возможно, сыграло решающую роль в его трагической судьбе (В адрес большевиков он порой заявлял, что «это не власть народа, а жидокоммунистическая, и что Троцкий не Троцкий, а Бронштейн и чуть ли не миллионер и бывший меньшевик». Не упускал он случая пройтись и по адресу Каменева-Розенфельда [ЦДНИ РО. Ф. 12. Оп. 3. Д. 485. Л. 75]). От таких личностей большевистское руководство старалось избавиться.

Порой большевикам удавалось убедить население в том, что им безразлична этническая принадлежность контрреволюционеров и «чуждых элементов» — они представляли просто Властью. «Жиды расстреливают жидов — значит, власть образумилась», — таков был мысленный комментарий подобных форм репрессивности. Большевики не раз расстреливали спекулянтов-евреев, причём под публикуемыми списками жертв непременно стояли фамилии комиссаров-евреев, подписавших приговоры [Козлов, Финкельштейн 2000: 432–434]. Решительнее своих противников они расправлялись и со своими погромщиками.

Этническое насилие невозможно победить интернационалистскими заклинаниями — опыт Советского Союза наглядно это продемонстрировал. Исторически этническому хаосу успешнее всего противостояла империя, как бы она себя не называла.

\* \* \*

Разумеется, все командиры не были заинтересованы в погромном разложении своего воинства, что было заметно и у белогвардейцев. Так, «убеждённый юдофоб» (по собственному признанию) М.Г. Дроздовский жёстко карал погромщиков, не желая допустить падения дисциплины в своем отряде [Дроздовский 1996: 25–26]. Скорый на расправу генерал А.П. Кутепов также расстреливал погромщиков, резонно полагая, что, начав с евреев, они примутся громить все подряд [Генерал Кутепов 1934: 84–85]. Отмечая подобные моменты, П. Кенез утверждает, что белые генералы все же не находили эффективных способов предотвращения погромов, поскольку в Добровольческой армии массовый антисемитизм принял поистине зоологический характер [Kenez 1980: 58–63]. (Некоторые российские авторы, однако, считают, что антисемитское насилие не встречало поддержки у большинства добровольцев [Абинякин 2002: 428]). Позднее некоторые «раскаявшиеся» белые генералы даже утверждали, что налицо было «первое проявление фашизма» [Сахаров 1923: 314–315]. На деле, скорее имела место истероидная реакция на крах привычных идеалов.

«В сознании серой массы борьба за освобождение России (от большевизма — В.Б.) превратилась в разгром евреев», — утверждал позднее Д.С. Пасманик, лидер умеренного крыла сионизма, искренне сочувствовавший белому движению. Он напоминал, что еврей-

финансисты помогали Добровольческой армии, — той самой, офицеры которой могли рассориться «по поводу того, какой части раньше приступить к грабежу евреев». В еврейских кругах считали, что белое движение «должно было явиться выражением здоровой российской государственности и потому было обязано собирать и объединить все антибольшевистские силы России, без различия народности, племени и вероисповедания». Происходило обратное. В войсках Деникина у низшего, да и отчасти высшего офицерства погром считался «милой и очень выгодной забавой»: в апреле-мае 1919 г. в Новороссийске и Екатеринодаре добровольцы, готовясь к походу на Москву, пребывали в убеждении, что «на антисемитизме можно воздвигнуть национальную Россию» [Пасманик 1923: 175, 182, 185–187].

Один из ироничных парадоксов революционной смуты состоял в том, что белогвардейцы, упорствовавшие в юдофобстве, порой сами представляли в глазах масс «масонами». В Сибири противники Колчака выдвигали лозунг: «Бей жида и чеха, спасай Россию!» [Сахаров 1923: 84]. Разумеется, среди контрреволюционеров оставались свои идеалисты, не желавшие марать честь и достоинство офицера участием в расправах над беззащитными людьми. Но даже здоровые обломки гбнущей империи не могут приостановить процесс её прогрессирующего разложения.

### ***6. «Обыкновенное» лицо погрома***

Антисемитизм, как и этнофобия в целом, является своего рода индикатором общей нестабильности системы. Благодаря новейшим документальным публикациям появилась возможность разглядеть облик и повадки погромщиков. Можно поставить вопрос об особенностях этнического насилия в XX в., не забывая, что Гражданская война в России в этом отношении не была чем-то исключительным на фоне европейского Средневековья, походов Богдана Хмельницкого или Холокоста. Важно понять, чем был погром революционного времени: обычным грабежом и мародёрством, характерным для любой смуты, мстительным возмездием за приписываемые пороки и преступления, или особой «идейной» разновидностью насилия, подпитываемой проснувшимися этнофобскими инстинктами.

В этом смысле у белых, красных, петлюровцев, махновцев, поляков было много общего. Во-первых, никто из их лидеров и высших должностных лиц не поддерживал погромщиков, более того, периодически издавались грозные приказы против них. Во-вторых, в соответствующих правительствах имелись не только министры-евреи, но даже специальные ведомства по еврейским делам. В-третьих, постоянно отыскивались доброхоты из авторитетных евреев, которые упорно не признавали фактов погромов. Наконец, среди должностных лиц, офицеров, сторонников режима, сочувствующих обывателей всегда находились люди, спасавшие или пытавшиеся спасти евреев.

Погромное озверение зачастую подпитывалось невозможностью определиться с главным врагом. Противники большевиков постоянно путались в вопросе о том, с кем они воюют: то ли с коммунистами, то ли с евреями. Зато наготове всегда имелось юдофобское «оправдание». 6 февраля 1919 г. после подавления большевистского восстания, обернувшегося, как водится, еврейским погромом, командир «Запорожской казацкой бригады им. головного атамана Петлюры» атаман Семисенко издал приказ более чем своеобразного содержания. В этом документе евреям предлагалось умерить свои анархические порывы, ибо «народ христианский» и без того их не любит, а потому им ради собственной безопасности следует «сидеть тихо» [Христюк 1922: 106]. Большевики изъяснялись проще — валили все «эксцессы» на «несознательные массы». И это было не лишено оснований — в описаниях погромов особенно заметны «независимые атаманы», возглавлявшие деревенскую гольтьбу [Козлов, Финкельштейн 2000: 375–376].

Известно, что наиболее интенсивные погромы происходили при занятии войсками того или иного населённого пункта, при отступлении из него или в период «междучарствия»,

когда особо свирепствовали окрестные бандиты. Погромщики, с одной стороны, грабили, с другой — «мстили» за собственные неудачи. Но и то, и другое происходило по психологическому закону переноса установки на «символического» виновника. Характерно, что минимальным уровнем антисемитского насилия был отмечен период оккупации Украины германскими войсками, хотя и от их командования порой исходили приказы против «еврейских нарушителей мирной жизни» [Книга погромов... 2007: 233].

А антиеврейских погромах участвовали все противоборствующие стороны — петлюровцы, добровольцы, красноармейцы, «белополяки», махновцы, григорьевцы, всевозможные «атаманы» и «батьки». Среди погромщиков замечали и «евреев-воров»; в рядах петлюровцев водились авантюристы-евреи, выдававшие себя за украинцев; в польской армии обнаруживались евреи (солдаты и офицеры), считавшие, что с местными «жидами» следует расправляться на манер Петлюры [Книга погромов... 2007: 126, 593–594]. И все они старались избавиться от своего погромного имиджа. Особенно поражают расхождения между мемуарными и документальными свидетельствами Гражданской войны.

Самого Петлюру трудно обвинить в *прямом* потворстве погромам — соответствующий миф сознательно раздувался большевистской пропагандой. Известно, что он издавал (пусть с запозданием) сдерживающие распоряжения и даже предавал погромщиков суду [Петлюра 2008: 240, 244, 246]. Однако существует подписанный им приказ против «грабіжників-москалів та жидів» [Книга погромов... 2007: 85].

Впрочем, лицо атаманщины на Украине определяли вовсе не идейные самостийники из этнических украинцев. Жуткую славу погромщика снискал Н.А. Григорьев, в прошлом штабс-капитан. Со своим крестьянским воинством он ухитрился попеременно повоевать и за Петлюру, и за Скоропадского, и за большевиков, и, наконец, против большевиков. Между прочим, Григорьев как-то издал особый «Универсал» против «насилия справа» и «насилия слева» и обещал, что в будущих «Советах без коммунистов» не будет «засилья ни партий, ни наций». Известен даже случай, когда Григорьев пытался остановить погром [Книга погромов... 2007: 197]. При этом в григорьевских Советах евреям отводилось лишь 5% мест (для украинцев — 80 %) [Савченко 2000: 114]. Бесполезно пытаться характеризовать Григорьева и его погромщиков в устоявшихся терминах — это был типичный «человек смуты», хаотично менявший пристрастия и объекты ненависти.

В основе погромов лежал не просто антисемитизм. В русской Гражданской войне местечковый еврей мог представлять поочерёдно и «буржум», и «коммунистом» — людское смятение превращало его в некую «универсально-инфернальную» фигуру, насилием над которой можно публично бахвалиться. В апреле 1919 г. на Украине, под Ровно матрос некой «повстанческой советской армии», призывая толпу к погрому, похвалялся, что лично вырезал свыше 300 евреев. В октябре 1919 г. во время погрома в Киеве некий белогвардейский поручик заявлял: «Я человек интеллигентный, но когда вижу еврейскую кровь, то чувствую нравственное удовлетворение» [Книга погромов... 2007: 104, 310]. Разумеется, в подобных заявлениях присутствовал элемент обычной бандитской бравады, но они отражали общее этнофобское озверение комбатантов, под какими знамёнами они бы не выступали.

В июле 1919 г. во время погрома в Балашове (Саратовская губерния) казаки генерала К.К. Мамонтова избивали евреев нагайками, привязывали их к хвостам лошадей, топтали копытами; затем разошлись настолько, что ограбили несколько русских домов. Все это делалось по наводке местных жителей, обычно «уличных мальчишек». Было убито до 30 человек. В Козлове 23–24 августа мамонтовцы учинили ещё более жуткий погром [Книга погромов... 2007: 772–776, 785–786, 789]. Имел хождение слух, что всякий раз после взятия города командование давало несколько дней для расправы с евреями и коммунистами [Книга погромов... 2007: 784]. (Некоторые мемуаристы уверяют, что командование намеренно публиковало приказы о расстреле на месте грабителей лишь спустя три дня после захвата города [Мы-

шагин-Скрыдлов 2007: 167–168]) — повсеместно возвращались моральные стандарты Средневековья.

Порой свои действия погромщики обставляли атрибутами коллективной «игры», «шалости», «озорства» — налицо подсознательное желание уйти от ответственности, придав своим поступкам «детский» характер. Любому преступлению сопутствуют попытки внутреннего самооправдания. В России они несли заметный отпечаток патерналистской психологии.

Среди белогвардейских погромщиков особенно заметны были не только казаки. Активно участвовали в белогвардейских погромах на Украине чеченцы — иной раз большевики именовали их «деникинскими опричниками» [Книга погромов... 2007: 199, 262, 264, 278, 337, 339, 341, 531]. Среди активных грабителей называли также ингушей и осетин, а то и просто «горцев». Впрочем, описан случай, когда «осетинский полк» не допустил погрома [Книга погромов... 2007: 191, 295–296, 310, 319, 374]. Из этого можно было бы заключить, что склонность к погромным действиям особенно характерна для традиционно военизированных сословий и этносов. На деле в грабежи и погромы втягивались все «разложившиеся» комбатанты. Не составляли исключения и образованные люди. Иногда добровольцы для формы спрашивали: «жид — русский?». Получив ответ: «русский», заявляли, что «все равно — жид или русский» и грабили [Книга погромов... 2007: 313]. Согласно некоторым свидетельствам, белогвардейцы особенно охотно обирали обладателей «нерусских» фамилий. В Киеве ограбили и избили пожилую француженку [Мышагин-Скрыдлов 2007: 168].

О «революционном» грабеже и говорить не приходится. Махновцы, чьи идейные лидеры выступали против всякой эксплуатации, превращали евреев в подобие собственных рабов [Книга погромов... 2007: 538]. Известна одна из прокламаций Махно (1919 г.), в которой говорилось, что Советская власть «иногда» оказывается захвачена евреями [Еврейская трибуна. 1920. № 52. 24 декабря: 4]. Вспоминается старая, известная со времён Ж. де Местра, истина: скорее сама революция управляет её вождями, нежели они управляют ею; злодеи, представляющие вожаками смуты, обычно участвуют в ней в качестве беспомощных статистов.

\* \* \*

Среди большевистских войск изуверов было предостаточно, но командование более решительно сдерживало их. Бюро еврейских коммунистических секций в ноябре 1920 г. направило Ленину специальную записку о погромах, учинённых бойцами Первой конной армии [Ленин 1999: 401–402, 457, 596–587]. Большевистская комиссия по расследованию преступлений буденовцев решила, что погромщики находились под влиянием «махновщины», поскольку выступали под лозунгами: «Бей жидов и коммунистов» [Ленин 1999: 424–428]. Как бы то ни было 6-я дивизия, особо отличившаяся по этой части, была расформирована, при этом было расстреляно почти 200 погромщиков [Книга погромов... 2007: 815, 870]. Дело было, конечно, не в «махновщине». Исследователи указывают на разложение буденовцев, усилившееся после поражения на польском фронте [Присяжный 1992; Генис. 1994]. Известны и другие, пусть менее масштабные случаи погромов, учинённых буденовцами [Книга погромов... 2007: 363, 397, 400, 401, 408, 416, 422–425, 431]. Да и сам С.М. Буденный имел среди обывателей репутацию юдофоба. Разложение коснулось и других большевистских частей [Еврейская трибуна. 1920. № 49. 3 декабря: 9; № 50. 10 декабря: 9; 1921. № 58. 4 февраля: 8].

В ряде случаев действия большевиков провоцировали вспышки этнофобии. В еврейской прессе описан уникальный случай: прибытие в Бомбей (Индия) партии из 112 армянских и 85 персидских евреев — беженцев, ставших жертвами армян. Оказывается, что, покидая Анатолию (территория так называемой Турецкой Армении), большевики оставили там администрацию из армян, которая тут же занялась этнической чисткой. Им приписывалось уничтожение сотен (что, скорее всего, преувеличение) евреев [Еврейская трибуна. 1921. № 57. 28 января: 9].

Известна наиболее отвратительная сторона погромов — сексуальное насилие. Казалось бы, это явление уместно связывать с общественным избытком сексуальной энергии, подавляемой в прошлом. Представляется, однако, что оно связано с фактором иного порядка. Строго говоря, изнасилования — обычный спутник войны. Некогда это была естественная форма взаимоотношений между полами у реликтовых этносов. Как бы то ни было, у белогвардейцев особо отметились по части изнасилований инородцы Сводно-горской дивизии [Абинякин 2002: 425]. Это было похоже на «мужскую» форму самоутверждения.

Войны и набеги приносят в секс особую силовую коннотацию. Воин, уничтожив врагов-мужчин, путём насилия над чужими жёнами как бы ставит последнюю точку в завоевании: овладевая чужой живновоспроизводящей плотью, он превращает её в *свою*. В общем, это древнейшая форма «культурного» взаимодействия между этносами — победители осуществляли своего рода протоцивилизационную мутацию. Со временем институт брака ограничил обычай сексуального насилия рядом табу, которые, естественно, не распространялись на чужаков. Войны открывали выход за пределы цивилизационных сдержек.

Погромное изнасилование — это способ воссоздания утраченных иерархий в демонстративно-издевательской форме. Отсюда изнасилования малолетних, беременных, старух, больных, глухонемых и полуидиотов [Книга погромов... 2007: 224, 239, 265, 283, 289, 332, 355, 360, 423, 515, 566, 576, 583, 610, 633, 635, 637, 654, 700]; при этом применялись садистские и изуверские формы стигматизации [Книга погромов... 2007: 204, 327, 328, 339, 423, 507, 732], публичные изнасилования, изнасилования на глазах мужей и родственников, половые акты в «извращённой» (судя по всему, — оральной) форме [Книга погромов... 2007: 215, 356]. Не случайно преобладание групповых способов изнасилования [Книга погромов... 2007: 277, 289, 343, 354, 591, 633, 636, 654] — такова одна из примордиалистских форм идентификации.

Всякие экстремальные ситуации вызывают примитивизацию взаимоотношений между полами. Близость смерти — реальная или символическая — вызывает обострение сексуального влечения. Секс, будучи связан с продолжением рода, выступает витальным компенсатором смерти и/или угрозы уничтожения. В сексуальном насилии эпохи Гражданской войны следует разделять «обычные» изнасилования, в большей или меньшей степени характерные для всех войн, крайние их формы, несущие на себе отпечаток социальной девиантности и травм психики мирного времени, и, наконец, «мстительные» их формы. Именно последний фактор выливается в столь варварские формы. Человеческая мораль весьма «пластична», хотя люди обычно не любят об этом вспоминать.

Вместе с тем, в годы Гражданской войны порой и белые, и красные словно приходили в ужас от той роли, которую навязывала им российская смута. И тогда они расстреливали всевозможных насильников и изуверов в своих собственных рядах. Все та же логика хаоса подталкивала их к тому, чтобы переутвердиться в качестве столпов порядка. В феврале 1919 г. в период межвластия в Киеве, произошёл погром, инициированный то ли петлюровцами, то ли украинско-большевистскими полками. Большевики, не вдаваясь в выяснение обстоятельств, вызвали нерассуждающих китайцев и те расстреляли 80 человек [Козлов, Финкельштейн 2000: 496]. Преодолеть этническое насилие проще было с помощью преданных власти чужаков. И это тоже характерный знак революции.

Порой большевики обретали попутчиков и среди «революционных националистов». Так, известно, что они субсидировали бундовцев, враждовавших с сионистами. Весьма часто еврейские секции местных большевистских организаций (часто из бывших бундовцев) провозгласили «классовые» репрессии против своих соплеменников [Шкурко 1999: 79, 83]. Классовый принцип проявлял себя и таким образом.

Большевики изначально поделили мир на угнетателей и угнетённых — среди последних могли найти свое особое место и инородцы. Не удивительно, что «интернационалистские» вожди готовы были использовать приручённых «сепаратистов» в видах мировой рево-



люции. Ленин, к примеру, в начале ноября 1919 г. рекомендовал «оставить в покое башкир и киргиз полностью, тем облегчая свою политику борьбы за Азию» [Ленин 1999: 305]. Между тем, на местах за службу у белых уничтожались туркмены, татары, калмыки [Красный террор... 1992: 235, 243–244, 247]. Со временем большевики даже «национал-уклонистов» в собственных рядах объявили «буржуазными националистами». Власть осуществляла селекцию своих этнических подданных по принципу жёсткого идейного вассалитета.

Был ли в таких условиях интернационализм просто идеологической фикцией, тактической приманкой для неустойчивой части «националов» или дополнительным методом расправы с чуждыми элементами в видах мировой революции? Создаётся впечатление, что в основе большевистского интернационализма лежала яростная озлобленность по отношению к «национальному несовершенству» всего человечества — отсюда наличие в нем энтопатерналистского компонента. Разумеется, нельзя сбрасывать со счетов и идеалистического настроя некоторых коммунистов, готовых искреннее вызволять народы от «векового рабства». С другой стороны, степень ослеплённости «националов» интернационалистскими посулами была такова, что они очень часто шли на сотрудничество с коммунистической властью.

Классово-интернационалистская пропаганда большевиков среди русского населения также давала определённые — чаще парадоксальные — результаты. При соответствующей обработке населения образ этнически и классово «чуждого» элемента вырастал до призрака дьявольски меняющего свою личину врага. «Интернационализмом» маркировались свои люди, как бы вынужденные занять круговую оборону от бесчисленных чужаков. Это помогло консолидации вокруг новой власти, хотя вовсе не на той основе, на которой хотелось бы идейным борцам за мировую революцию.

В постимперских гражданских войнах их явные и неявные участники словно задаются целью омыть пространство разрушенной державы кровью символических врагов. Знаков того, что в дореволюционной России всякий «эксплуататор» подсознательно ассоциировался с представителем «чужого» этноса было предостаточно. Теперь наступила очередь этнически окрашенной социальной расправы. Отсюда национализмы «освободившихся» наций, принимавших не менее уродливые формы. Особенно примечательна их мстительность по отношению к бывшим имперским этносам. Так, в 1919 г. оккупировавшие Белосток польские легионеры тут же запретили разговаривать на улицах на русском и немецком языках; православные церкви они превращали в костёлы и призывали «не доверять ни одному русскому, ни жида» [Езовитов 1919: 84–87, 92–93, 103]. Приходится признать, что в смутные периоды истории все этносы оказываются «равны» лишь в одном — падением в бездну этнофобии. Однако националистические идеологи, похоже, не согласятся с этим никогда.

Исследователь не свободен от давления культурно-нравственных эталонов «своей» эпохи. И все же качественно иная организация эвристического потенциала человека возможна вопреки когнитивному диктату современности. Строго говоря, исследователи всегда стремились прорваться сквозь наукообразные запреты тех или иных разновидностей схоластики. Нынешним этноконфликтологам стоило бы научиться видеть то общее прошлое населяющих Россию народов, в котором просматриваются не только враги, но и жертвы персональных страхов и всеобщего неведения.

### ***7. Понять погром: условия «пробуждения зверя»***

Чем основательнее человек забывает основное правило своего выживания в пространстве большого исторического времени, связанное с бытовой гармонизацией опыта прошлого и мечтаний о будущем, тем большему риску он подвергает свое каждодневное существование. Стало банальностью напоминать, что Клио жестоко мстит за забвение своих уроков, — в сущности, очень простых.

Русскую революцию можно воспринимать как своего рода энциклопедию бунта и погрома, однако вряд ли это будет справедливо. Сегодня очевидно, что печатью большого погрома отмечена вся история XX в. Это, разумеется, не случайно. Этнодемографические уплотнения исторического времени всегда сочатся человеческой кровью.

Но имеет ли этнический конфликт свою собственную природу и имманентную динамику? Нетрудно заметить, что в его течении обнаруживаются различные составляющие: и хозяйственная (особенно применительно к аграрному вопросу), и социальная (главным образом в революционных обстоятельствах), и политическая (в той мере, в какой обозначены националистические элиты), и культурная (в виде цивилизационной гетерогенности участников). Очевидно, природа этнической конфликтности в значительной степени определяется ситуационными императивами. Они в свою очередь определяются психическими реакциями на непривычную комбинацию вполне привычных факторов.

В свое время под впечатлением нацистской реакции на закат эпохи Просвещения Ж.-П. Сартр сочинил впечатляющее эссе «Размышление о еврейском вопросе». Основная его мысль сводилась к тому, что современный образ еврея — продукт воображения закомплексованных существ середины XX в., не способных понять и принять функционально-иерархическую природу европейского мира, а потому впавших в социальную истерию. Для разумного человека, писал Сартр, поиски истины становятся все более мучительными — отсюда люди, «которых влечёт постоянство камня». В основе этого влечения «первородный страх самого себя», страх своей недееспособности. А потому для человека, потерявшего себя в современном мире, «роль социальной связи выполняет гнев, а коллективизм не имеет иной цели кроме осуществления над определёнными индивидуумами какой-нибудь репрессивной санкции».

Вероятно, в тогдашней Франции, как и Германии все было именно так: антисемиты вербовались из «напуганного» среднего класса. Но что такое антисемитизм революционных низов? И возможен ли некий антипод всякой этнофобии в иные времена?

Человек — и творец, и разрушитель одновременно. Авторитарные системы подавляют в нем творческое начало и стимулируют «квази-творческий» зуд разрушения. И тогда его страсти и инстинкты начинают рыскать в поисках врага, который, разумеется, скорее всего, найдется среди тех, кто своим обликом и повадками наименее соответствует «идеальной» картине мира, туманно прорисованной в его воображении. Понять эту простую истину куда труднее, чем подавить «зов племени».

Познавательные тупики истории особенно ощутимы в пространстве традиционной империи, ибо помимо империи — средоточия насилия, существует её «идеальный» образ, в котором «сбалансированы» все экзистенциальные противоречия человеческого существования.

Любую империю можно представить как систему внутренних исторически сложившихся иерархий, которые должны поддерживаться в состоянии динамического равновесия. «Застойные» империи тяготеют к состоянию «неравновесной стабильности», которую несложно разрушить. «В отношениях между людьми иерархизация власти представляет удобный способ разрядки агрессии по принципу: „меня бьёт более сильный, я бью более слабого“» [Кемпински 1998: 52]. Это таит в себе антиимперскую опасность.

Империя рождается как внутренне «избыточная» культура, рождающая мощь диктаторского цивилизационного напора на внешний мир. Этому сопротивляются извне и даже изнутри — чаще вяло и всегда безнадежно. Но когда в ходе кризиса империи её завораживающая экспансия (своего рода территориальная «эманация духа») вырождается в убогий энтропийный процесс, величественное прошлое предстаёт своей оборотной стороной. Ослабление имперской государственности, независимо от его причин, является важнейшей причиной взрыва этнического насилия.

Погромы были не только частью «революционного» насилия, но и знаком морального разложения старой культуры — насильствовали, ностальгируя о былом господстве. Так, в 1920 г. в местечке Ялтушков появились петлюровцы в сопровождении небольшого отряда «фролов-

цев» (бывших деникинцев). «Таких гнусных, утончённых, до мозга костей развращённых мерзавцев, как эти фроловцы, я ещё не видел», — писал невольный очевидец (врач по профессии). — Почти все они были „интеллигенты“ — один из них сразу же стал наигрывать на рояле Бетховена. Затем они начали грабить, но главным их увлечением было изнасилование девушек и девочек-подростков» [Новый мир 1923, № 144. 6 августа: 3]. Но дело не только в маньяках — насилие затягивает. Среди насильников, включая командиров, была масса молодых людей с неустоявшейся психикой, действия которых формировали новые поведенческие практики, захватывающих более значительную массу «неуверенных» комбатантов. Империи «заносчивы», а потому делают людей завистливыми, а народы эгоистичными. Все это предстало в самом неприглядном виде в годы Гражданской войны.

Российская империя упорно нагнетала погромные настроения в последние десятилетия своего существования. Разложение сословной пирамиды, основывающейся на принципах феодално-аристократической преданности «белому царю», и движение к космополитичной бюрократической иерархии порождало, помимо всего, массу этномаргиналов, выступающих под революционными знамёнами. Последние, независимо от собственных идейно-политических установок, не могли не провоцировать традиционалистские слои с их имманентным недоверием к «чужому». И нетрудно вообразить, что случалось в условиях напряжённого соседства автохтонной сельской культуры и этнически чуждых городских культур и субкультур.

Легко поверить в то, что национализм — всего лишь попытка защитить свое культурное своеобразие броней своей собственной государственности [Геллнер 1991: 104]. Однако, как и из чего создать эту государственность на развалинах империи? И не из этого ли тупика безысходности постимперского национализма рождается истерия этнофобии, призывающей себе на помощь бесов прошлого?

В идеале всякая империя не столько подавляет этносы, как ставит их себе на службу. Однако это возможно только при условии *веры в империю*. Последняя, однако, не беспредельна — особенно со стороны интровертных этносов. А между тем всякий модернизационный процесс вызывает сомнения в традиционной системе ценностей. Как результат, народы империи, утратившей способность к творческой саморефлексии, рискуют заикнуться на мифической фигуре «внутреннего врага». А потому призрак погрома может обнаружить себя даже в новейших классовых конфликтах. И это естественно.

В условиях кризиса империи революционный порыв не случайно начинает стимулироваться латентной напряжённостью межэтнических связей и становящейся все более ощутимой гетерогенностью культур. Его провоцируют ранее не столь заметные несправедливости «разделения труда» между народами, стихийные миграционные процессы, попытки русификации, наконец, давление «внешнего» мира. Впору говорить о «столкновении цивилизаций» в лоне некогда единой государственности, причём в форме этнофобской войны всех против всех. И дело не только в том, что сепаратизм провоцируется ослаблением центра, подобно тому, как в гриве умирающего льва оживают блохи. В атмосфере растущего недоверия каждый этнос начинает «спасаться» под руководством своих «харизматичных» вожаков, обособляясь или подавляя ближних.

Системный кризис Российской империи был взлелеян её историей: если в дореволюционный период доминировала экспансия русской культуры и государственности, то теперь получило преобладание то, что сопротивлялось ей. Обычно подобные тенденции именуют центробежными, деструктивными, сепаратистскими. Все развитые цивилизации сохраняют себя не столько с помощью закона, сколько путём демобилизующего «отщепенцев» социального контроля, прикрытого древними как мир мифами. И в то же время, вопреки поставленным целям, космополитичное имперское управление невольно, но неуклонно провоцируют силы природного сопротивления, способные дойти до трайбалистских воплощений.

Историю принято оценивать «по героям и злодеям». Но как быть с теми, блаженная бездеятельность которых подготовила почву для трагедий многих народов?

Российская этнополитика — как и все правление — последнего императора сыграла по истине подстрекательскую роль. Начав с ужесточения антиеврейского законодательства согласно заветам своего отца, Николай II вынужден был затем пойти на некоторые послабления (вроде отмены запрещения проживания евреев в 50-вёрстной западной приграничной полосе), а после Первой русской революции — на заметную либерализацию антиеврейской политики в целом [Иванова, Желтова 2009: 712–717]. Эффект был двойким: в центральные губернии был облегчён доступ диссипативным элементам еврейства; население Центральной России столкнулось лицом к лицу с «культурно непонятым» этносом. Остаётся только удивляться, как до сих пор сообщество историков не оценило значения этих самоубийственных шатаний Николая II.

Конечно, не разразись Первой мировой войны, говорить об этнических коллизиях, в которые вылился системный кризис Российской империи, было бы проблематично. К тому же, этнофобскую его составляющую уместно, казалось бы, отнести к обычной психопатологии военного времени (пример Австро-Венгрии, в полном смысле слова разорванной национализмами, вроде бы подтверждает это). Однако посулы и иллюзии этнопатернализма не проходят бесследно. В самом начале войны германофобия сомкнулась с антисемитизмом, причём этот процесс подталкивался «сверху», главным образом с подачи контрразведки [Фуллер 2009: 205–219]. Это подхлестнуло не только волну шпиономании, но и последующую убеждённость в том, что «предатели» и «шпионы» угнездились на самой вершине власти.

Обычно революционная «смута в головах», переворачивая сложившиеся системы ценностей, влечёт за собой череду неадекватных (по понятиям прежних времён) действий, именуемых стихийными. Возникает подобие «снежного кома» неадекватных реакций одних на неадекватное поведение других — таков, собственно, механизм революционного «помешательства» в целом. Это характерно для всех времён, включая современность. Более того, есть основания говорить о том, что в наше время (в связи с усилением роли «виртуального» в системе человеческих взаимоотношений) «хаос непонимания» может приобрести пандемическое качество.

Исследователи (главным образом на примере бывшей Югославии) констатируют, что затаившиеся в прошлом коллективные страхи перед будущим поднимают голову по мере того, как государство теряет способность выступать в роли третейского судьи между оппонентными или скрыто враждующими группами или оказывается не в состоянии гарантировать им защиту [Newland 1993: 161]. И тогда, в условиях «растущей анархии» заботы о собственной безопасности выступают на первый план [Posen 1993: 103–124] — этносы начинают эгоистично втягиваться в поиск новых гарантий выживания. Все это было характерно и для революционной России. При этом было заметно, что этнонационализм стремился предстать «классовым» (украинские лидеры утверждали, что их народ изначально «антибуржуазен»).

Идентификационные ориентиры всегда многообразны. Этого обычно не желает понять имперско-патерналистская власть, упорно навязывающая подданным единственно допустимую форму идентификации — лояльность к ней самой. Не удивительно, что имперский «патриотизм» в условиях духовного выхолащивания слабеющей власти оборачивается своей противоположностью — поиском ориентиров для новой идентичности [Buldakov 2003: 3–33]. В естественность этого процесса по ряду причин до сих пор трудно поверить, хотя нечто подобное происходило при распаде всех империй [Sked 1987; McCarthy 2001].

\* \* \*

Лицо погрома связано с фактором не только общественной, но и личностной психопатологии. Некоторые случаи изошрённых антисемитских издевательств смотрятся символично. В октябре 1919 г. некий корнет Алехин так подготовил население еврейской колонии «Графское» к встрече «освободителей»: громадная толпа евреев «приветствовала» белогвардей-

скую чеченскую конную дивизию стоя на коленях. Как оказалось, корнет организовал этот спектакль это для демонстрации «жидовской покорности» [Де Витт 2005: 125, 162] — молодой человек явно наслаждался властью.

Бытовой жестокости часто сопутствует «юмор висельников». И красные, и белые легко находили эвфемизмы, позволяющие облегчённо воспринимать и насилие, и саму смерть. Первые с лёгкостью отправляли невинных людей в «штаб Духонина», вторые именовали грабёж подношениями «благодарного населения». Те и другие охотно оправдывали «своих» насильников.

Отмечены случаи, когда в человеке, получившем власть над жизнями людей, в полном смысле слова «просыпался зверь». Именно это, вероятно, произошло с 26-летним И. Соколом, некогда служившим в ЧК и производившем впечатление «человека уравновешенного, весьма и весьма обыкновенного». Сколотив собственную банду, этот атаман учинил жуткую резню в Белой Церкви, вырезал еврейское население в Володарке и «фактически стер с лица это местечко» [Книга погромов... 2007: 232, 235–236, 280]. В условиях, когда та или иная доктрина или утопия снимала «устаревшие» нравственные табу, подобные акции словно заворачивают некогда законопослушных людей.

Не удивительно, в ряде случаев крестьяне приветствовали «окончательное решение» еврейского вопроса в своих селениях. В сентябре 1920 г. в Городище Киевской губернии они дружно проголосовали за расстрел 200 односельчан бандитами Голого [Книга погромов... 2007: 418]. Последний, по-видимому, был личностью примечательной: еврейские источники называют его «петербургским офицером» [Еврейская трибуна. 1921. № 55. 14 января: 7], большевистские — «бывшим петлюровским» командиром, сколотившим банду в 500 человек [Книга погромов... 2007: 420]. Трудно сказать, чего в нем было больше: природной извращённости или садизма. Ясно, однако, что всякий погром инициировался диссипативными личностями, провоцирующими людей девиантного поведения и всевозможных маргиналов. Последние, в свою очередь, заражали погромным настроением «косную» традиционалистскую массу.

Этническое насилие становилось «обыденным». Еврейская пресса утверждала, что петлюровская армия «на 95% состоит из профессиональных разбойников, трусов и убийц» [Еврейская трибуна. 1920. № 45. 5 ноября: 9]. Тем не менее, местные еврейские общины порой прибегали к их услугам, чтобы избежать погромов со стороны других атаманов. Практика самосохранения также становится безнравственной.

Кое-где реактивировался «разбойный» компонент культуры некоторых этносов. До революции абречество было связано главным образом с тем, что кавказские «туземцы», совершившие преступление, подлежали не гражданскому, а военному суду. Соответственно, даже после незначительной провинности подозреваемый предпочитал спастись бегством, автоматически превращаясь в «профессионального» разбойника — абрека [Ботяков 2004: 5]. Местное население не только терпимо относилось к этому явлению, но и наделяла отдельных абреков чертами «благородного мстителя». Как бы то ни было, в 1917 г. абречество на Кавказе стало расти как снежный ком: к численно выросшим отрядам профессиональных разбойников ситуационно примыкали большие толпы любителей поживиться за чужой счёт [Булдаков 2010б: 160, 196, 201, 226–231, 265, 304–306, 336, 238, 244]. Естественно, их действия легко приобретали этнофобскую окраску.

В сущности, на той же «абреческой» основе строилась махновщина: головку её составляли идейные анархисты (в том числе и евреи), а массу воинства — селяне, с особой охотой громившие евреев [Булдаков 2010б: 963, 996, 1025]. Тем не менее, Н. Махно и по сей день в определённых кругах сохраняет имидж противника антисемитизма.

Можно предположить, что «идейные» вожаки погромщиков состояли из болезненных существ, демонстрировавших отвратительнейшую форму преодоления собственных комплексов за счёт насилия над слабыми «чужаками». Так, типичной фигурой смотрится Е. Ляхович,

выходец из семьи провинциального священника. Он учился в духовной семинарии, затем воевал, побывал в школе прапорщиков. В 1917 г. Ляхович вернулся в родной уезд и взялся за «поднятие национального чувства». Правда, местный врач отмечал, что Ляхович проявил себя как «психически больной юноша», морфинист, который присоединился к Петлюре из меркантильных соображений. Ляхович похвалялся, что собственноручно «зарезал свыше 600 жидов». Характерно, что при этом он демонстрировал повадки «джентльмена», намеренно противопоставлявшего себя рядовому селянству. Петлюра арестовывал Ляховича, который в конце концов был убит одним из членов его отряда [Середа 1930: 18–20; Книга погромов... 2007: 485].

Сходные сдвиги в психике под влиянием резкого изменения привычной идейной среды происходили и у других атаманов. Примечательна фигура 22-летнего учителя М.О. Бришки, который, побывав в австрийском плену, сделался ярым самостийником и антисемитом. В мае 1919 г., побывав у своих идейных наставников в Умани, он вернулся «с директивами, чтобы евреи больше не были у власти». Примкнувшими к нему уголовными элементами за два дня было убито 34 еврея [Книга погромов... 2007: 166–169].

Характерен наиболее жуткий случай погрома: казацкая бригада в феврале 1919 г. в течение трех дней вырезала более 1500 евреев Проскурова за мнимое участие их в большевистском восстании [Книга погромов... 2007: 51, 53, 64, 69], *воздержавшись* при этом от грабежа. Это был редкий случай своего рода «идейного» и, вместе с тем, «показательного» убийства. Инициировал его командир бригады И. Семесенко — тщедушный молодой человек 22–23 лет, по отзывам «полуинтеллигентный, нервный и неуравновешенный» [Книга погромов... 2007: 435]. Но обычно под «идейными» предлогами петлюровские атаманы устраивали этнические грабежи.

Б.В. Савинков, идейный наставник С.Н. Булак-Балаховича, доказывал, что «армия Балаховича — это первая армия, которая ведёт истинную борьбу с еврейскими погромами» [Книга погромов... 2007: 630] (В еврейской прессе упоминался приказ Булак-Балаховича о том, что погромщики, застигнутые на месте преступления, будут расстреливаться на месте [Еврейская трибуна. 1920. № 45. 5 ноября: 9]). Между тем, свидетели уверяли, что Булак-Балахович, некогда служивший у красных, «клялся убивать евреев». Действия его подчинённых, среди которых была масса уголовных элементов, вполне подтверждали это [Еврейская трибуна. 1921. № 64. 18 марта: 8]. В поведении их атамана было нечто буффонадное, но подельники видели в нем истинного героя. Сам Булак-Балахович считал себя католиком и белорусом, а однажды провозгласил себя «начальником Белорусского государства (что не помешало ему позднее объявить себя «борцом за Россию»)» [Еврейская трибуна. 1920. № 45. 5 ноября: 9]. Вероятно, этот деятель был одержим манией личностного самоутверждения через мстительное насилие, взламывающее нравственные табу мирного времени. Он был готов расстрелять всякого несогласного.

Окружение Булак-Балаховича было этнически пёстрым, но все его представители участвовали в погромах, причём в этом им помогали белорусские крестьяне [Письма во власть 1998: 29]. Если верить собранным большевиками документам, бандитами Булак-Балаховича практиковались утопления и сожжения людей, изнасилования всех женщин в возрасте от 9 до 60 лет [Ленин 1999: 586–587]. Похоже, что иным «отвязанным» атаманам ради сохранения боеспособности своего воинства надо было просто держать в запасе объект мести, — чаще им оказывалось еврейское население. Сознание собственного «всесилия» особенно опьяняет людей, так или иначе подавляемых в прошлом.

Впрочем, встречались и «весёлые» погромщики. Таким был О. Козырь-Зырка — «молодой красавец, жгучий брюнет цыганского пошиба, с хорошими манерами, замечательный оратор». Иногда он расстреливал собственноручно, но чаще предпочитал наблюдать за экзекуциями [Книга погромов... 2007: 34–39]. Элементы глумления — неперенный спутник всякой этнофобии. Издевательства над евреями практиковали и польские солдаты, отрезав-

шие им бороды и заставлявшие петь песни «о недостойной еврейской нации и порядочности поляков» [Книга погромов... 2007: 363, 391, 562, 712; Езовитов 1919: 84]. Нечто подобное проделывали в 1918 г. Бессарабии румынские офицеры [Киевская мысль. 1918. 21 мая; Рассвет. 1918. № 19. 2 июня: 31]. По-видимому, в акциях такого рода, помимо этнического самоутверждения, присутствовал элемент садистского нарциссизма.

Кровавое бахвальство и балаганные формы издевательств были обычными спутниками Гражданской войны. Вероятно, феномен погрома связан и с процессом деструкции личности и революционера, и контрреволюционера [Булдаков 2013: 162–183]. Революция особенно зло «подшучивает» над существами с неустойчивыми умами и болезненным воображением — иной раз они выбиваются в «вожди» толп. Но последующая их судьба, как правило, незавидна.

\* \* \*

Большинство этнических конфликтов, связанных с распадом СССР, легко было предсказать, опираясь на опыт 1917–1920 гг. Этого не случилось, ибо люди, как всегда, бездумно устремляясь вперёд, обрекают себя на блуждание по кругу.

В известном смысле человек обречён на «непонимание» собственной истории. С одной стороны, его трудно убедить, что *его* эпоха — лишь обычное мгновение в пространстве большого исторического времени, в котором ему и суждено *реально* пребывать и незаметно сгинуть. Во-вторых, по условиям своего современного существования он *a priori* не способен адекватно оценивать события прошлого, причём герменевтические экзерсисы профессионалов вряд ли способны преодолеть давление исторической памяти. В-третьих, его нынешние симпатии и антипатии — в значительной степени лишь производное от эмоциональных «издержек» исторического существования, которое воспитало в нем суеверного «человека толпы» и даже «члена стаи». Наконец, так называемый *homo sapiens* упорно отказывается от индивидуального миропознания, предпочитая ему «истину», провозглашаемую «своими» вождями и «властителями дум». И эта тенденция нарастает в связи с «визуализацией власти» — впрочем, лишь до определённого предела. «Совершенствование» мира лишь усиливает его кризисность.

Возможно, архаике этнизированного мировосприятия суждено до бесконечности прорываться сквозь покров любых цивилизаций — как в условиях их победоносного напора, так и кризисов. Поэтому лучше принять за аксиому внутреннее «коварство» любого этноса по отношению к тому миропорядку, в лоне которого он набрал силы. Сколь умудрёнными не казались бы реформаторы, какие бы «высокие» цели не провозглашали революционеры, вожакам упрямого людского стада удаётся только одно: пробудить в человеке старую как мир иллюзию, что во всех его бесконечных бедах виноват злокозненный «чужой», а потому по отношению к нему допустима любая жестокость.

Так было в незапамятные времена, то же самое происходит в войнах и революциях. Вновь и вновь призрачные архетипы сознания, подхлестнутые «новыми» идеями, получают грубое силовое наполнение, векторы привычных поведенческих практик приобретают агрессивную целеустремлённость, а возбуждённый ум начинает рыскать в поисках врага, чей образ наиболее впечатляюще вырисовывается в тумане исторической памяти. Но историк обязан отделять подлинное наполнение прошлого от сонма созданных непонятливым людским воображением чудищ-симулякров. Иначе люди окончательно запутаются в паутине созданных ими символов.

Через высшие проявления человеческого духа мы узнаем *кем* человек может и должен стать. Взирая на смену форм насилия, мы видим *чем* он пока остаётся. И для того, чтобы двигаться в будущее, важнее знать об этом последнем. Знать вопреки ханжеской и безвольной тяге людей к забвению, на котором паразитируют всевозможные конспирологи

«Политкорректной» или «государственно выгодной» истории, имея в виду историю как науку, не может быть в принципе. Историческое самопознание — а без него нет будущего — несовместимо с показухой. Исследователь, проникающий в глубины прошлого, не может потакать вкусам современности, несмотря на то, что связан с ней пуповиной культурно-нравственных принципов.

Так или иначе, исследователь обречён перебирать немногие документальные свидетельства кровавой исторической природы человека, пытаясь отыскать в них зерна вневременного смысла. История — не только вдохновляющее сияние прошлого, но и всегда своевременное предупреждение о будущем.

Абинякин Р.М. 2002. Социально-психологический облик и мировоззрение добровольческого офицерства. — *Гражданская война в России: События, мнения, оценки*. — М.

Ахиезер А.С. 2002. Специфика исторического опыта России: трудности обобщения. — *Pro et Contra*. — Т. 5. — № 4.

Ахиезер А.С., Давыдов А.П., Шуровский М.А., Яковенко И.Г., Яркова Е.Н. 2002. *Социокультурные основания и смысл большевизма*. — Новосибирск.

Белова О.В. 2011. Освоение пространства языка: между «своим» и «чужим». — *Слова. Концепты. Мифы* / Отв. ред. Г.К. Венедиктов. — М.

Бергер П., Лукман Т. 1995. *Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания*. — М.

Ботяков Ю.М. 2004. *Абречество на Кавказе. Социокультурный аспект явления*. — СПб.

Будницкий О.В. 2005. *Российские евреи между красными и белыми (1917–1920)*. — М.

Булдаков В.П. 2013. Деструкция личности революционера, 1920-е гг. — *Человек и личность в истории России, конец XIX–XX век*. — СПб.

Булдаков В.П. 2007. *Quo vadis. Кризисы в России: пути переосмысления*. — М.

Булдаков В.П. 2010а. *Красная смута. Природа и последствия революционного насилия*. — М.

Булдаков В.П. 2006. «Немецкий вопрос» в IV Государственной думе. — *Власть и общество в России: опыт истории и современность, 1906–2006 гг.* — Краснодар.

Булдаков В.П. 1999. Феномен революционного национализма в России. — *Россия в XX веке: Проблемы национальных отношений*. — М.

Булдаков В.П. 2010б. *Хаос и этнос. Этнические конфликты в России, 1917–1918 гг. Условия возникновения, хроника, комментарий, анализ*. — М.

Бурдьё П. 2005. *Социальное пространство: Поля и практики*. — СПб.

Бутаков Я.А. 2002. Русские крайние правые и белое движение на Юге России в 1919 г. — *Гражданская война в России: События, мнения, оценки*. — М.

ГА РФ. *Государственный архив Российской Федерации*.

[Ганновер Н.] 1878. *Богдан Хмельницкий. Летопись еврея-современника, Натана Ганновера, о событиях 1648–1652 годов в Малороссии вообще и о судьбе своих единоверцев в особенности*. Перевод с древне-еврейского языка, с предисловием и примечаниями Соломона Манделькерна. — Одесса.

Гатагова Л.С. 2012. «И сыну грозно возопил...». Армяне как объект фобии в Кавказском наместничестве. — *Родина*. — № 8.

Гатагова Л.С. 1998. Юдофобия: сумма зол. — *Рубежи*. — № 2.

Геллнер Э. 1991. *Нации и национализм*. — М.

Генерал Кутепов. 1934. — Париж.

Генис В.Л. 1994. Первая конная армия: за кулисами славы. — *Вопросы истории*. — № 12.



- Гессен Ю.И. 1908. Граф И.П. Игнатъев и «временные правила» о евреях. — *Право*. — № 30.
- Гиацинтов Э.Н. 1992. *Записки белого офицера*. — СПб.
- Голос народа... 1998. *Голос народа: Письма и отклики рядовых советских граждан о событиях 1918–1932 гг.* — М.
- Гольдман С. 1921. *Листи жидівського соціал-демократа про Україну. Матеріяли до історії українсько-жидівських відносин за час революції*. — Відень.
- Де Витт Д. 2005. Чеченская конная дивизия. 1919 год. — *Звезда*. — № 10.
- Деникин А.И. 2003. *Очерки русской смуты*. Т. 4. — М.
- Добрынин В.А. 1923. *Оборона Мугани. 1918–1919. Записки кавказского пограничника*. — Париж.
- Дроздовский М.Г. 1996. *Дневник. — Белое дело. Добровольцы и партизаны*. — М.
- Дэвис Н.З. 2006. Обряды насилия. — *История и антропология: Междисциплинарные исследования на рубеже XX–XIX веков*. Под общ. ред. М. Крома, Д. Сэбиана, Г. Альгази. — СПб.
- Еврейская трибуна... *Еврейская трибуна*.
- Езовитов К. 1919. *Бѣлоруссы и поляки. Документы и факты изъ історіи окупаціи Бѣлоруссіи поляками в 1918 и 1919 годах*. — Ковна.
- Ершов Д.В. 2010. *Хунхузы: необъявленная война. Этнический бандитизм на Дальнем востоке*. — М.
- Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. 2008. *Без победителей. Из истории гражданской войны в Крыму*. — Симферополь.
- Иванова Н.А., Желтова В.П. 2009. *Сословное общество Российской империи (XVII – начало XX века)*. — М.
- Исхаков С.М. 2000. Национально-революционное движение в Центральной Азии (1917–1918): позиция М. Чокаева. — *Академик П.В. Волобуев. Неопубликованные работы. Воспоминания. Статьи*. — М.
- Кемпински А. 1998. *Экзистенциальная психиатрия*. — М.-СПб.
- Киевская мысль... 1918. *Киевская мысль*.
- Клиер Д. 2005. Казаки и погромы. Чем отличались «военные» погромы? — *Мировой кризис 1914–1920 годов и судьба восточноевропейского еврейства*. — М.
- Книга погромов... 2007. *Книга погромов. Погромы на Украине, в Белоруссии и европейской части России в период Гражданской войны. 1918–1922 гг.: Сборник документов*. — М.
- Колоницкий Б.И. 2010. *«Трагическая эротика»: Образы императорской семьи в годы Первой мировой войны*. — М.
- Королев С.А. 1997. *Бесконечное пространство. Гео- и социографические образы власти в России*. — М.
- Королев С.А. 2009. Псевдоморфоза как тип развития: случай России. — *Философия и культура*. — № 6.
- Королев С.А. 2015. Секуляризация и десекуляризация в контексте концепции псевдоморфного развития России. — *Философская мысль*. — № 4.
- Королев С.А. 1995. Сублиманы у власти: заметки о происхождении «политической шизофрении». — *Архетип*. — № 1.
- Костырченко Г.В. 2001. *Тайная политика Сталина: Власть и антисемитизм*. — М.
- Красный террор... 1992. *Красный террор в годы гражданской войны*. — Лондон.
- Крузе Д. 2006. След другой истории: Бог и избивающие младенцы. — *История и антропология: Междисциплинарные исследования на рубеже XX–XIX веков*. Под общ. ред. М. Крома, Д. Сэбиана, Г. Альгази. — СПб.
- Кузембаулы А., Абилов Е. 1996. *История Казахстана (С древнейших времен до 20-х годов XX века)*. — Алматы.

- Ленин В.И. 1999. *Неизвестные документы. 1891–1922.* — М.
- Леонтьева Т.Г. 2002. *Вера и прогресс: православное сельское духовенство России во второй половине XIX – начале XX вв.* — М.
- Ливен Д. 2007. Россия как империя и периферия. — *Линия судьбы. Сборник статей, очерков, эссе.* — М.
- [Мамонтов С.] 2001. *Походы и кони. Записки поручика Сергея Мамонтова. 1917–1920.* — М.
- Мардамшин Р.Р. 1999. *Башкирская чрезвычайная комиссия (Страницы истории).* — Уфа.
- Мелик-Шахназаров З. 1995. *Записки карабахского солдата. (Воспоминания участника событий 1918–1920 гг. в Нагорном Карабахе).* — М.
- Меньшиков М.О. 2005. *Письма к русской нации.* — М.
- Мишагин-Скрыдлов А.Н. 2007. *Россия белая, Россия красная. 1903–1927.* — М.
- Моррас Ш. 2003. *Будущее интеллигенции.* — М.
- Мусаев В.И. 2014. «В чужом пиру похмелье»: Гражданская война, послевоенный террор в Финляндии и русское население в 1918 г. — *Маленький человек и большая война в истории России: середина XIX – середина XX в.* — СПб.
- Новый мир... 1923. *Новый мир* (Нью-Йорк).
- Осипова Т.В. 2001. *Российское крестьянство в революции и гражданской войне.* — М.
- Особый журнал Совета министров № 6 от 9 января 1914 г. По вопросу о мерах борьбы с хулиганством в сельских местностях 2006. — *Особые журналы Совета министров Российской империи. 1914 год.* — М.
- Павлюченков С.А. 1997. *Военный коммунизм в России: власть и массы.* — М.
- Петлюра С. 2008. *Главный атаман. В плену несбыточных надежд /* Под ред. М. Поповича, В. Мироненко. — М.; СПб.
- Письма во власть. 1998. *Заявления, жалобы, доносы, письма в государственные структуры и большевистским вождям.* — М.
- Письма с войны... 2015. *Письма с войны 1914–1917 /* Составление, комментарии и вступительная статья А.Б. Астахова и П.А. Симмонса. — М.
- Поляков Л. 1997. *История антисемитизма. Эпоха веры.* — М.-Иерусалим.
- Почешхов Н.А. 1998. *Гражданская война в Адыгее: Причины эскалации (1917–1929 гг.).* — Майкоп.
- Присяжный Н.С. 1992. *Первая Конная армия на польском фронте в 1920 году. (Малоизвестные страницы истории).* — Ростов-на-Дону.
- Рассвет... 1918. *Рассвет.*
- Райх В. 1997. *Психология масс и фашизм.* — СПб.
- Романова В.В. 2001. *Власть и евреи на Дальнем Востоке России: История взаимоотношений (вторая половина XIX – 20-е годы XX в.).* — Красноярск.
- Рюде Дж. 1984. *Народные низы в истории. 1730–1848.* — М.
- Савченко В.А. 2000. *Авантюристы гражданской войны. Историческое исследование.* — М.
- Сахаров К.В. 1923. *Белая Сибирь. Внутренняя война 1918–1920 гг.* — Мюнхен.
- Середа С. 1930. *Отаманщина: отаман Ляхович.* — *Литопис Червонной Калині. Львів.* — № 4.
- Слѣзкин Ю. 2007. *Эра Меркурия. Евреи в современном мире.* — М.
- Соловей Т.Д., Соловей В.Д. 2009. *Несостоявшаяся революция. Исторические смыслы русского национализма.* — М.
- Старков Б.А. 2007. *Охотники на шпионов-2. Пасынки Великой войны. Контрразведка последней войны Российской империи. 1914–1917.* — СПб.

- Страда В. 2007. Россия как часть и Иное Европы. — *Линия судьбы. Сборник статей, очерков, эссе.* — М.
- Тишков В.А. 2010. *Российский народ.* — М.
- Шишкин В.И. 1997. *Сибирская Вандея: вооруженное сопротивление коммунистическому режиму в 1920 году.* — Новосибирск.
- Шкурко Э.А. 1999. *Очерки истории евреев Башкортостана.* — Уфа.
- Шляпников А.Г. 2002. За хлебом и нефтью. — *Вопросы истории.* — № 11.
- Шпет Г.Г. 1996. *Введение в этническую психологию.* — СПб.
- Фуллер У. 2009. *Внутренний враг: Шпиономания и закат императорской России.* — М.
- Хара Т. 2001. Япония движется на Север: Японская оккупация Северного Сахалина (20-е годы XX века). — *Краеведческий бюллетень. Проблемы истории Сахалина, Курил и сопредельных территорий.* — № 1. — Южно-Сахалинск.
- Христюк П. 1922. *Замітки і матеріали до історії української революції. 1917–1920.* Т. IV. — Відень.
- Чхеидзе К.А. 2004. *Страна Прометей.* — Нальчик.
- ЦДНИ РО. *Центр документації новітньої історії Ростовської області.*
- Ascher A. 1995. Anti-Jewish Pogroms in the First Russian Revolution, 1905–1907. — *Jews and Jewish Life in Russia and the Soviet Union.* — Ilford and Portland.
- Baron S. 1976. *The Russian Jews under the Tsars and Soviets.* — NY.
- Buldakov V.P. 2003. Attempts at the «Nationalisation» of Russian and Soviet History in the Newly Independent Slavic States. — *The Construction and Deconstruction of National Histories in Slavic Eurasia.* — Sapporo.
- Buldakov V.P. 2010. Freedom, Shortages, Violence: The Origins of the “Revolutionary” Anti-Jewish Pogrom in Russia, 1917–1918. — *Anti-Jewish Violence: Rethinking the Pogrom in East European History.* Ed. by J. Dekel-chen, D. Gaunt, N. Meir. — Indiana University Press.
- Horne J., Kremer A. 2001. *German Atrocities, 1914. A History of Denial.* — New Haven, L.
- Lambroza S. 1992. The Pogroms of 1903–1906. — *Pogroms. Anti-Jewish Violence in Modern Russian History.* Ed. by J. Klier and S. Lambroza. — Cambridge.
- Levin N. 1988. *The Jews in the Soviet Union since 1917.* Vol. 1. — N.Y., L.
- McCarthy J. 2001. *The Ottoman People and the End of Empire.* — L., NY.
- Kenez P. 1980. The Ideology of the White Movement. — *Soviet Studies.* — Vol. 32. — No. 1.
- Nationalism and Ethnic Conflict... 2001. *Nationalism and Ethnic Conflict.* Ed. by M.E. Brown, O.R. Cote, Jr., S.M. Lynn-Jones and S.E. Miller. — The Mit Press, Cambridge (MA), L.
- Newland K. 1993. Ethnic Conflict and Refugees. — *Ethnic Conflict and International Security.* Ed. by V.E. Brown. — Princeton University Press.
- Polakov Y. 2001. Civil War in Russia: Internal and External Consequences. — *Political History and Culture of Russia.* — Vol. 15. — No. 1.
- Posen B.R. 1993. The Security Dilemma and Ethnic Conflict. — *Ethnic Conflict and International Security.* Ed. by V.E. Brown. — Princeton University Press.
- Sanborn J. 2003. *Drafting the Russian Nation. Military Conscription, Total War, and Mass Politics, 1905–1925.* — DeKalb.
- Sked A. 1987. *The Decline and Fall of the Habsburg Empire, 1915–1918.* — L., NY.